

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ



Дмитрий БЫКОВ



Дмитрий
БЫКОВ

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ



Дмитрий БЫКОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ



Дмитрий БЫКОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

сборник интервью

УДК 882-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Б95

Быков Д.Л.

Б95 И все-все-все: сб. интервью. Вып. 1 / Дмитрий Быков. — М.: ПРОЗАиК, 2009. — 336 с.

ISBN 978-5-91631-037-5

В сборник «И все-все-все» (выпуск 1) вошли интервью разных лет, взятые журналистом, писателем и поэтом Дмитрием Быковым у известных политиков и деятелей культуры — Виктора Астафьева, Александра Гордона, Василия Шандыбина, Юрия Шевчука и многих других.

УДК 882-4

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-91631-037-5

© Быков Д.Л., 2009

© Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2009

Содержание

От автора	7
Оксана АКИНЫШИНА	14
Виктор АСТАФЬЕВ	33
Федор БОНДАРЧУК	53
Владимир ВОЙНОВИЧ	66
Александр ГОРДОН	76
Игорь ГУБЕРМАН	86
Евгений ГРИШКОВЕЦ	96
Алла ДЕМИДОВА	108
Марк ЗАХАРОВ	123
Альфред КОХ	136
Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ	151
Александр КУШНЕР	160
Юлия ЛАТЫНИНА	175
Орхан ПАМУК	197
Эдвард РАДЗИНСКИЙ	206
Эльдар РЯЗАНОВ	225
Борис СТРУГАЦКИЙ	235
Виктория ТОКАРЕВА	247
Эдуард УСПЕНСКИЙ	256
Александр ФИЛИППЕНКО	273
Василий ШАНДЫБИН	284
Михаил ШВЫДКОЙ	297
Юрий ШЕВЧУК	309
Леонид ЯРМОЛЬНИК	324

От автора

В 2001 году я написал статью «Конец интервью», где объяснил самому себе причины, по которым работать в этом жанре стало скучно, почти невозможно. Тогда госдеятели полюбили вымарывать из представленного на визу текста все сколько-нибудь живое и эксклюзивное, а звезды освоили шаблон, который я попытался зафиксировать в пародии «Нужное подчеркнуть».

«Преимущество настоящей болванки в том, что она одинаково пригодна для интервью политика, политтехнолога, менеджера, звезды, дебютанта, телеведущего или банкира. Главное, чтобы стержневая мысль оставалась неизменной: «Сначала мне было очень плохо, но, поскольку я был очень хорошим, теперь мне стало заслуженно хорошо». Самое ценное, что то же самое могла бы сказать о себе и страна, если бы кто-нибудь додумался ее о чем-нибудь спросить.

вопрос. Я вижу, у вас новая квартира (дом, коттедж, брак, социальный строй).

ответ. Да, я все это сделал своими руками. Мой дом (коттедж, брак, страна) — островок моего пространства во враждебном окружении. Я не люблю кричащей роскоши. Я тем более ценю свой нынешний уют (стабильность, стабфонд), что начинал свою жизнь совсем в другой обстановке. У нас была комната в коммунальной квартире (подвал, чердак, инфляция). Нас ненавидели

все соседи (одноклассники, страны НАТО). Я всего раз в неделю (обедал, мылся, закусывал). Я никогда не забываю о своем суровом детстве и всегда ему благодарен. Без этой школы жизни я никогда бы не оценил свой нынешний коттедж (брак, дворец, стабфонд). Надеюсь, мой пример вдохновит тех, у кого сегодня нет коттеджа (дворца, стабфонда). Именно для них я недавно дал благотворительный концерт (спектакль, обед) в двух отделениях (блюдах, блюдцах). Я неустанно молюсь за них, ибо без молитвы не начинаю и не заканчиваю ни одной (работы, поездки, разборки, аферы, расправы).

вопрос. Вы верите в Бога?

ответ. Я не понимаю, как можно не верить в Бога. Мне кажется, Бог поцеловал меня уже при рождении. Вы, может быть, удивитесь, но меня совершенно не волнуют деньги. Я вообще о них не думаю. Я думаю исключительно о Боге. Многие люди любят деньги больше, чем Бога, но я — наоборот. Я люблю общаться со святыми старцами и обращаюсь к хиромантам (магам, гадалкам, астрологам, шаманам, киллерам) исключительно с их благословения. Когда я только начинал свою карьеру, одна богомольная старушка сказала мне: «Далеко пойдешь, если не остановят!» Думая о ней, я всегда вспоминаю слова Лермонтова (Пушкина, Блока, Козьло, президента): «Ты жива еще, моя старушка?» Еще я очень люблю больных. Я хочу, чтобы их было как можно больше, чтобы все они могли получить от меня (деньги, молитвенную помощь, эстетическое удовольствие, нравственные ориентиры). Люблю сироток, особенно из числа стариков и детей. У меня постоянно живут от трех до пяти (бездомных детей, бездомных собак, бедных родственников, кошек, девушек, наложниц, заложниц, вдов, сирот, жен, мужей).

вопрос. *Я слышал, вы были очень несчастны в первом браке (сроке, двадцатом веке)?*

ответ. Мы остались друзьями, но, по правде сказать, бывший муж (жена, продюсер, начальник, глава государства) не очень-то мне подходил. Приходилось готовить (стирать, работать, выбирать, голосовать, думать). Не было времени и денег подумать о новом платье (лифтинге, лифчике, шопинге, серфинге, импичменте, Боге, душе). Случалось, он устраивал мне даже порку (скандал, майдан, путч). Он изменял мне с соседкой (с Америкой). Но я все простила. Это так по-христиански! Пусть он будет счастлив (здоров, толст), если сможет (выживет, доживет). О своих страданиях я рассказала в книге «Мои страдания» («Страсти по мне»). Зато нынешний мой избранник дал мне все (стабильность, коттедж, удовлетворение, стабфонд). У него огромная (квартира, харизма, властная вертикаль) и очень большой (автомобиль, газопровод, рейтинг). Он уважает мою творческую индивидуальность (национальную матрицу, самость, самкость, маму, религию, дочь от первого брака). Мы живем душа в душу (тютелька в тютельку, копеечка в копеечку, ноги в руки, глазки в кучку, всё в дом).

вопрос. *Как вам удается поддерживать форму (рейтинг)?*

ответ. Я ни в чем себе не отказываю. Мне кажется, надо просто научиться любить то, что тебе дал Бог. Какую он тебе дал фигуру (внешность, власть) — ту и люби. Нужно только регулярно (умываться, бегать, плавать, молиться, жениться, учиться, учиться и учиться).

вопрос. *Что вы любите читать?*

ответ. Может быть, это покажется немодным, в чем-то даже экстравагантным, но я люблю читать книги. Газеты, журналы. (Пауза.) Брошюры.

вопрос. *Как вы относитесь к телесериалам?*

ответ. Вы знаете, может быть, я выскажу крамольную мысль, но, по-моему — вы можете, конечно, со мной не согласиться, — я рискну предположить, что не бывает плохих фильмов (книг, реформ, властей, женщин). Бывают плохие зрители (читатели, избиратели, мало водки). Всякая работа, если она осуществляется с душой (с любовью к Родине, к матери, к Богу), приносит удовлетворение (гонорар, счастье, коттедж, стабфонд). Некоторые играют ради денег или рейтинга, а я — ради Бога. Иногда мне кажется, что сам Бог смотрит наш сериал (шоу «Звезды в сортире», ток-шоу «Бордель-2», выборы) — и тихо (смеется, аплодирует, благословляет, делает нам рейтинг, плачет, уходит).

вопрос. *Как вообще получилось, что вы занялись этим (делом, служением театру, кинематографу, телевидению, спасением Отечества)?*

ответ. Вы знаете, это получилось в достаточной степени случайно. Я никогда не думал, что стану звездой (магнатом, спасителем Отечества). На роль звезды (магната, спасителя Отечества) пробовался мой приятель, из того же города. Но так получилось, что когда он пришел показываться (режиссеру, продюсеру, предыдущему спасителю Отечества), то выбрали почему-то меня, хотя я тихо стоял в сторонке и смотрел на него влюбленными глазами. Он был для меня тогда Богом. Я собирал все его диски (книги, носовые платки, окурки, ценные указания). И вдруг он повернулся ко мне и сказал: «А этот (эта) что здесь делает?!» И я понял, что это судьба. Больше всего на свете я обязан моим родителям — простым, обычным (инженерам, врачам, учителям, пожарникам, банкирам, олигархам, спасителям Отечества). С любви к родителям начинается любовь к Родине, с любви к Родине — лю-

бовь к Богу, а с любви к Богу — стабильность (карьера, коттедж, стабфонд)!

вопрос. Способны ли вы простить измену?

ответ. Знаете, это непростой вопрос. С одной стороны, Бог учит нас прощать все. С другой — тот, кто изменил жене (Родине), завтра может изменить Родине (жене). И потому этот вопрос я решаю для себя так: себе я по-христиански прощаю все. Другим, как истинный патриот, — ничего! Что касается любви, то здесь очень важно выбрать своего заветного, одного-единственного. И все делать только с ним. Жить только с ним, любить только его, изменять только ему.

вопрос. Чем вы будете заниматься, когда оставите сцену (шоу-бизнес, подиум, страну)?

ответ. Вы знаете, я пока не думал об этом. Мне кажется, что надо жить сегодняшним днем. Если вы верите в Бога (продюсера, спасителя Отечества), он найдет способ о вас позаботиться. Могу сказать одно: уходить далеко я не намерен. Я не могу оставить своего зрителя (избирателя) на произвол судьбы (враждебного окружения). Когда я выхожу на (сцену, арену, подиум, трибуну), я чувствую ответную волну любви. И пока у нас будет эта любовь (газ, нефть), мы будем идти по жизни рука об руку (нога за ногу, зубы на полку, глазки в кучку)».

В общем, примерно так оно и обстоит. Тем драгоценнее собеседники, пока еще способные вести себя иначе.

Интервью — не столько трудный, сколько трудоемкий жанр: договариваться о встрече, переносить ее двадцать раз, готовиться, встречаться, разговаривать (с нелегким чаще всего собеседником), записывать, визировать, иногда по три раза... Диктофоном я не пользуюсь принципиально, полагаясь на почти магнитофонную память — в ней остается главное, а диктофон фиксирует все без

разбору, вследствие чего в публикации остается масса необязательных вещей. Все это, прямо скажем, довольно хлопотно, и окупаются все эти титанические усилия (предпринимаемые с обеих сторон, потому что терпеть журналиста — тоже не подарок), дай Бог, в десяти случаях из ста. Этим объясняется тот факт, что из тысячи интервью, взятых за двадцать пять лет, в эту книгу попали всего двадцать четыре (столько же и в следующую). С большинством собеседников у меня проблем не возникало. Все тексты, включенные в эту книгу, завизированы. Печатались они либо в моем любимом «Собеседнике» (большинство), либо в не менее любимом «Огоньке», либо — реже — в «Известиях» или глянце.

В качестве интервьюера я довольно однообразен — почти всем собеседникам задаются вопросы о бессмертии души, о российских исторических перспективах и о связи между личной и литературной жизнью (то есть, грубо говоря, о преимуществах того или иного образа жизни для сочинительства). Оправдание мое в том, что я действительно интересуюсь именно этими вопросами: как замечал еще Честертон, все почему-то разговаривают о футболе, а интересно только о Боге. Вдобавок и сами собеседники демонстрируют все-таки принадлежность к определенному человеческому типу — только этим я могу объяснить тот факт, что Игорь Губерман и Орхан Памук сослались в наших разговорах на один и тот же афоризм Синявского (которого я и сам очень люблю).

Всем моим собеседникам я глубоко благодарен. Перед ушедшими мне стыдно — жаль, что я отнимал у них время, которого, оказывается, оставалось немного, и спрашивал все о каких-то глупостях. Мне кажется, у нас еще будет шанс поговорить по-настоящему — на это я, по крайней мере, надеюсь. А с другой стороны, мне не

стыдно расписываться в собственной детской глупости. Собеседники мои в большинстве своем были исключительными людьми, а спросить таких людей о чем-нибудь осмысленном, как показывает опыт, очень трудно. Я по крайней мере не надувал щеки.

С некоторыми персонажами я встречался по несколько раз, и в тех случаях, когда интервью разных лет демонстрируют интонационную либо мировоззренческую эволюцию (а то и просто делают наглядней отечественную историю), приводятся два разговора.

Ну ладно. Как знает каждый интервьюер — врез не должен быть слишком длинным.

Дмитрий Быков

Оксана Акиньшина

Честно говоря, давно у меня не было такого ощущения — поговорить я с Акиньшиной поговорил, и совершенно счастлив, и мне абсолютно не хочется это все записывать. Потому что собственные ее слова, отделившись от нее, уже будут враньем. А мне ужасно хочется сохранить ощущение абсолютной чистоты, которое от нее исходит, и ничем этого ощущения не испортить — даже публикацией.

— *Не против, если сначала про фильм Филиппа Янковского «В движении»? Как вам Янковский ставил задачу?*

— Очень просто. Стой там, смотри на Хабенского.

— *Вам приятно было смотреть на Хабенского?*

— Это лучший сегодня актер, по-моему. И очень хороший человек.

— *Но Янковский вам объяснял, что полагается сыграть?*

— Примерно вашими словами. Типа символ чистоты. Я решила ничего особенно не изображать, честно стояла и смотрела.

— *Вам нравится картина?*

— Нет.

— *Почему?*

— Московская.

— *В смысле — в Питере живут по правилам, а в Москве кое-как?*

— Нет, ровно наоборот. В Москве играют — действительно по правилам, — а в Питере живут. Вот я, например, очень люблю Венецию. Приехать туда летом, жить за ставнями среди чудесного зеленого гнилья морского — да, счастье. Но постоянно жить в декорации?! Питер — город абсолютно настоящий. Нигде, кроме Питера, себя не мыслю.

— *Кстати, как вам Мудиссон (режиссер фильма «Лиля навсегда») объяснял роль? Он же не говорит по-русски!*

— Не говорит. Он странный, абсолютный инопланетянин. Но там все было понятно, чего объяснять? Я потом, кстати, много таких девушек встречала, как эта Лиля. А тогда мне было четырнадцать лет и я обо всем догадывалась.

— *Вам не кажется, что с вами все рано случилось? Вы ведь в кино с двенадцати, в модельном бизнесе — еще раньше...*

— Я никогда сроду не была в модельном бизнесе.

— *А пишут...*

— Господи, что пишут?! Я была, как все девочки, в танцевальном кружке. И когда на «Ленфильме» были пробы, руководительница этого кружка привела нас и попросила, чтобы всех сфотографировали. Так я попала в картотеку, ассистент Балабанова меня заметил и показал Сереже Бодрову. А насчет того, что рано... Я в детстве мечтала быть военным. Такие были фантазии. Потом — тетенькой милиционером. Потом, как положено девочке, уже ветеринаром. И Бог знает, до чего бы я домечталась, если бы не началось кино. Пока оно меня устраива-

ет. Мне не надо мелькать постоянно, я не успеваю восстанавливаться.

— *А как вы восстанавливаетесь?*

— Главным образом за счет общения с людьми, которых я считаю умнее и лучше себя. Иногда за счет лежания в кровати. Я люблю в ней находиться, она должна быть теплой, это вообще важное место в доме. Никаких особых требований к жилищу у меня нет, кроме еще наличия ванной, конечно. Ванная нужна, да.

— *У вас бардак?*

— У меня полный порядок, навожу лично.

— *В чем вы за последнее время снялись?*

— Да так получилось, что почти и ни в чем. Сейчас пошли предложения, много, и слава Богу — разные. До этого сплошь предлагали девочек с трудной судьбой.

— *А вы девочка с легкой?*

— Не во мне дело, просто когда они все одинаковые — это задолбает кого угодно. Я от них регулярно отказывалась. Насчет судьбы... Ну, родители меня не покидали, без работы я не сижу, войны нет, формально я в порядке. В остальном последние полтора года я живу очень трудно. Я сегодня вечером встречаюсь с батюшкой, буду просить у него совета. Тут накладывается много всего — это семейные проблемы, какие-то предательства — меня вообще часто предают, — и быт, и общее нарастающее раздражение из-за множества мелких и крупных вещей. И чувство, что все идет не туда.

— *Вы настолько серьезно веруете? Это я насчет батюшки.*

— Абсолютно серьезно, но не в том смысле, что соблюдаю все обряды и много общаюсь со священниками. Просто мне хорошо в церкви. Там никто и ничто на меня не давит. Там нет людей, которые постоянно жаждут тебя побеждать.

— *А почему их столько развелось?*

— Потому что мы утратили все, что у нас было общего. Нет ничего, что всех бы скрепляло, мы не целое, и все заняты давлением друг на друга. Это особенно касается режиссуры, где много людей, непрерывно занятых самоутверждением. Я не буду никаких имен называть. Просто им нравится тебя унижать, и всё. И вообще в режиссуре сегодня страшное количество сынков великих людей — исключение составляет Тодоровский, он доброжелателен и четко знает, чего хочет; и может быть, я буду у него работать в новой картине.

— *А режиссер «Волкодава» Лебедев?*

— Лебедев — очень хороший человек, который просто попал не на свой проект. Это должен был делать сугубый монстр, производственник, способный управлять гигантской машинерией. А он человек интеллигентный, ходит деликатно по площадке, говорит с просительной интонацией — ему бы снимать хорошие триллеры вроде «Змеинового источника». Я вообще не очень понимаю, зачем надо было делать «Волкодава» и побивать Голливуд Галирадом. Одни люди умеют собирать монстров, а ты... я не знаю... дрессировать бабочек; ну и дрессируй!

— *А что бы вы сами сделали, если бы принялись делать кино?*

— Вряд ли когда-то примусь, но с наибольшим удовольствием — сказку. Хорошую детскую сказку.

— *А кого бы вы там играли — добро или зло?*

— Кого угодно, с одинаковой охотой. На добрую фею я вообще мало похожа. Людям, наверное, со мной трудно.

— *Почему?*

— Все потому же. Когда мне плохо, я не буду делать вид, что хорошо. До какого-то момента попристворяюсь, а потом запущу тяжелым предметом. Я человек депрессивный, не скрываю этого совершенно. Мне большую часть дня бывает плохо. Меня что угодно может взбесить, любой встречный хам, чье-то вранье, тетка в аэропорту.

— *Интересно, какие сказки вас впечатляли в детстве?*

— Любимый мультик — «Красавица и чудовище». Но с важной поправкой: мне не хотелось, чтобы он превращался в принца. Принцев полно, в любом сопредельном королевстве торчит по принцу, и все одинаковые. А чудовище — одно, и все девочки втайне любят чудовище, потому что его жалко. Мне, во всяком случае, не хочется его целовать, чтобы он принцизировался... опринцовывался... Я люблю чудовище.

— *А Шнур — чудовище?*

— В чем-то чудовище, в чем-то красавец. Он разный бывает. Это и интересно. В принципе он интеллигентнейший человек, но может быть абсолютным пьяным подонком, и это не сценический образ, а такая форма существования.

— *Я читал в одном его интервью, что «Ленинград» как образ жизни не всякий выдержит.*

— Еще бы... Пить-то столько...

— *А не пить никак нельзя?*

— Нельзя. Это будет уже другой образ жизни.

— *И вы пьете?*

— Пью. Ну, не в хлам, конечно, не до свинства, — но...

— *И что вам это дает?*

— Как всем: сначала весело, безбашенно, все можешь. Потом отходняки разной степени тяжести.

— *Какой у вас ближайший проект в запуске?*

— «Княжна Мери».

— *Вы, я так понимаю, будете княжна?*

— Да. Делать будет Олег Иванович Янковский. И он же — играть Печорина.

— *В его возрасте?*

— А что такого? Вполне похож.

— *И вы влюбились бы в такого?*

— Я же люблю подонков. Есть, понимаете, два типа мужчин. Одни — для долгой жизни, другие — для безумной страсти. Я влюбляюсь в тех, что для страсти. Потом всегда проигрываешь, потому что женщина обязательно проигрывает в таких отношениях. Как княжна Мери. Зато она влюблена в героя своего времени. Как и я. Как увидела Шнурова, так и влюбилась немедленно.

— *Что, по-вашему, делает его героем нашего времени?*

— Способность примерно за три года до конъюнктуры предвидеть ее. Ну, не в плохом смысле, — а попасть в нерв. Он сегодня один настоящий. А что герой нашего времени может быть подонком... Я попробую сейчас объяснить разницу между подонком и сволочью, как я ее понимаю. Подонки мучаются сам, и потому с ним иногда тяжело окружающим. А сволочь мучает других, а сама себя

чувствует прекрасно. Подонок — это комплимент в моей системе. Это человек не из большинства, потому что герой нашего времени не может быть в большинстве. Шнуров мучает себя сам, ему самому с собой трудно. Другого я бы не любила.

— *Какие его песни вам больше всего нравятся?*

— «Сука» и «Терминатор».

— *Вы повлияли на то, что он делает?*

— Думаю, да.

— *Многие говорят, что в вашем поколении наконец появились люди, на которых вся надежда: яппи, добропорядочный средний класс, трудяги офисов...*

— Я мало знаю свое поколение, потому что в основном общаюсь с людьми старше лет на десять. У них я могу что-то взять и чем-то заряжаться, а от ровесников пока нет. Но если говорить о яппи — это не моя надежда. У моей страны надежды совершенно другие.

— *Вам не нравится Путин?*

— В чем-то нравится, в чем-то нет — Путин при чем?! Не в нем дело.

— *А в чем?*

— На глазах страна стала другой. Вот вы спросили про «Сестер», а я уже плохо помню. Не потому, что была мала, — возраст как раз самый впечатлительный, — а потому, что мир вокруг другой. Сегодня в нем стремительно увеличивается количество говна, и самое печальное, что я не могу объяснить, в чем именно заключается это говно. Формально все нормально. Но я же не могу не чувствовать, что пространство нормы ужасно сузилось, и еще сужается, и скоро уже вообще ничего будет нельзя. И я не знаю, куда можно от этого деться. Я могу

в этом не участвовать, но тогда скоро участвовать станет не в чем.

— *Как, по-вашему, что делал бы сегодня Бодров?*

— Думаю, куда-то ушел бы. В кино его не очень представляю, в какой-то публичной деятельности — тоже. Думаю, он бы писал что-нибудь. Я предпочитаю так и думать — что он просто куда-то ушел и в тишине, в одиночестве что-то пишет. Но присутствует.

— *Вы верите в бессмертие? Я этот вопрос всем задаю, в том числе и себе.*

— Я не знаю. Мне неинтересно было бы знать. Я тоже живу с ощущением, что в конце мне будет предложена загадка. Какой интерес подглядывать?

— *Вы действительно принципиально не читаете книги и не хотите получать актерское образование?*

— Книги я читаю, но делаю это редко, о чем и сказала однажды, — с тех пор пошел слух: не читает книг вообще, принципиально... Просто мало книг, которые бы мне были по-настоящему нужны. Школу я закончила, хотя и с трудом, конфликтами и скрипом. Актерское образование получать не буду, а культурологическое — надеюсь, буду. Это будет история искусств.

— *Предполагалось ваше участие в одной культовой картине, не буду ее называть в печати. Оно не состоялось — почему?*

— Потому что режиссеру хотелось трахать Акиньшину, а у Акиньшиной уже Шнур. Он тогда нашел клон Акиньшиной.

— *И стал трахать?*

— Не знаю. Снимать, во всяком случае, стал.

— Андрей Кончаловский как-то сказал, что режиссура — дело чувственное, что если не трахать актрису, ей каких-то вещей не объяснишь...

— Ну, пусть другим так объясняют. Я как-нибудь сама. Я же говорю — мне трудно с людьми, и им со мной: у меня принцип — либо по-моему, либо никак.

— А наличие Шнура не отпугивает режиссеров?

— Если оно отпугивает ТАКИХ режиссеров, то и слава Богу. У меня вообще репутация человека, посылающего на х... Кого-то это отпугивает. Но лучше иметь такую репутацию. Тогда не поучаствуешь в говне. Сегодня человека используют, пока могут, а потом вышвыривают. И очень многие — я могла бы вам назвать имена, но вы их знаете — не могут устоять. Сначала человеку нужна квартира, потом еще одна квартира, потом особняк, а потом его вдруг нету — и всё. Среди людей, которые так жрут артистов — и не только артистов, а и режиссеров, и писателей, и кого хотите, — много умных. Но жестоких. Со мной так не будет. Меня никто не будет жрать — кроме моего чудовища, конечно.

— Ладно, последний вопрос. Почему вашу собаку зовут Писька?

— Вместе назвали. Это китайская лысая такса, очень маленькая. Я ее выторговала, выпросила у Шнура — «ну пожа-а-алуйста!» — после американских гастролей, когда он по возвращении растаял от радости и был на все согласен. Сейчас он ее — то есть его, потому что Писька мужского рода, — очень любит.

— Спасибо, Оксана. Зря про вас врут. Вы отлично отвечаете.

— Это потому, что вы прилично спрашиваете.

Год спустя. Разговор уже на «ты».

— ...Но самая большая неожиданность — в том, что моей жизнью интересуется вовсе не Маша с улицы. Она почему-то волнует ближний круг — людей из кино или вокруг кино. Скорее всего, им кажется, что сейчас будет объявлен кастинг на вакантную роль Шнура. Свято место пусто не бывает, и все такое.

— *И кастинг объявлен?*

— Поначалу так и было, но тут обнаружились ужасные противоречия. Мне нужен умный, а умным обычно под сорок. Но те, кому под сорок, обычно в кризисе среднего возраста, или в припадке ипохондрии, или в порыве бешеного грузилова. А я не хочу быть одна — и при этом не хочу, чтобы меня грузили. То есть мне хочется невозможного. Мне нужно, чтобы человек был рядом — и чтобы не влезал в пространство моей свободы; чтобы возникал, когда я в тоске или панике, — и исчезал по первому требованию. А поскольку этого не может быть, я сейчас в полосе побегов — начинаю отношения и рву и ни на чем не могу задержаться.

— *Мне одно время даже нравились разрывы — все обостряется, чувствуешь, что живешь...*

— Это до поры, на общем благополучном фоне. Но когда жизнь состоит только из них... нельзя же постоянно жить на нерве, в конце концов! Мне хочется одновременно быть загруженной и свободной, но чтобы размеры этой загруженности определяла только я. А мужчина в сорок — в единственном возрасте, с которым у меня возможно полноценное общение, — требует няньки и сидел-

ки. Я в психотерапевты не гожусь — могу утешить раз, другой, а потом мне надо, чтобы носились со мной!

— *Очень по-принцесски сказано. Мне рассказывали, что ты однажды буйствовала во время какой-то вечеринки и сказала Косте Мурзенко: «Мне все можно, я — принцесса!»*

— В упор не помню, но могло быть запросто. Фраза про принцессу — моя пословица, рассчитанная, конечно, на людей с юмором. На самом деле я на принцессу только учусь, это еще надолго. Я устала носиться с другими. Мне хочется, чтобы носились со мной. Черт его знает, я даже думала сменить институт — учусь на искусствоведа, а надо бы на психотерапевта. Ведь искусствоведение, как я поняла задним числом, — во многом из желания подражать Бодрову: он был искусствовед, и я подсознательно хотела быть, как он. А стоило учиться на психолога — чтобы учиться помогать другим не в ущерб себе.

— *Не надо.*

— Почему?

— *Ты бы сразу разучилась помогать другим. Как только поняла бы, как это делается. Это как сороконожка — задумавшись, какую ногу ставить дальше, она останавливается.*

— Но так, как сейчас, я тоже больше не могу. Я устала вытаскивать людей за счет собственного душевного равновесия.

— *А как можно вытащить мужчину из депрессии? Дать ему?*

— Когда как. Чаще всего как раз не дать. Это его заводит, переводит из самокопания в азарт, он на-

чинает тебя преследовать и забывает свои проблемы... Не дать — так, чтобы не унижить, — целое искусство, и я это могу. Но все эти игры меня съедают, и играть мне по большому счету не с кем. Пойми, выстраивать отношения — трудней любой режиссуры, любой игры, этого сейчас не умеют совершенно. Отсюда невероятное значение, придаваемое сексу, в то время как роль его, в общем, десятая.

— *Серьезно?!*

— Нет, иногда его жутко хочется. Мы позавчера смотрели идиотское «Золото дураков» большой приятельской компанией, в основном молодой. Мы сидели с подругой и пялились на Мэтью МакКонахи, абсолютного, в общем, дурака, — но слюни текут, на него глядячи. Это для одноразовых отношений, и они тоже имеют право быть, — но в отношениях нормальных, клянусь тебе, у секса — функция чисто смазочная. Ликвидировать ссоры, примирять, выпускать напряжение, снимать противоречия, в крайнем случае доказывать чувства в полосе взаимного недоверия. Но в общем он вещь вспомогательная, как посредник в сделке... и тут мы выходим на важную примету всего сегодняшнего вообще. Вылезли на первый план второстепенные и даже необязательные вещи. Миром рулит посредник. Отсюда выпячивание секса, дикое, непропорциональное. Просто потому, что его начинают рассматривать как замену всему. А он этой заменой быть не может, отсюда все эти страсти-мордасти с последующим мордобоем и разбегами. Не может быть полноценной любви у особей с ампутированными головами, а они сегодня составляют большинство. Надо же уметь выстраивать любовь,

каждый день что-то добавлять к ней... Ужас в том, что мне продолжают нравиться подонки, а такого умного и талантливого подонка, как Шнур, я с тех пор не встретила.

— *И тем не менее, ты довольно активно ищешь ему замену.*

— Говорят активней, чем я ищу. В последнее время возникло несколько ситуаций, которым я сама не рада: когда достаточно известные артисты из-за меня выясняют отношения. Мать мне говорит: что ты делаешь, чем развлекаешься?! Ты довольна этим, что ли?! И я себя в некотором испуге спрашиваю: мне что, действительно нравится сталкивать людей лбами? Нет, не нравится, я еще не настолько стерва, мне это круто чисто теоретически. Понятия не имею, что во мне находят. Может быть, я просто не боюсь жить и всем интересно?

Я даже придумала сюжет: вот, есть любовница президента (она, насколько я знаю, действительно есть, и ходят даже слухи о конкретной). И тут ее увидел Буш, и тоже влюбился, и понеслась вражда по полной программе — с ядерными ракетами, с демонстрацией мускулов... Это ситуация для меня, тут я, пожалуй, получила бы удовольствие. Во всяком случае, я бы хотела это играть.

— *При Шнуре такого не было?*

— Шнур патологически ревновал, что было приятно. Был эпизод с Лешей Паниным, когда я после размолвки дома готова была сбежать к нему — скорей из педагогических соображений, чем из любовных. Шнур тут же ему позвонил — «Что такое, собсссно?!» И я тут же вернулась, с большим облегчением.

— *Медведев у тебя вызывает какие-нибудь ощущения, раз уж мы заговорили о президентах?*

— Я, кстати, Шнуру проиграла. Я говорила, что они как-то исхитрятся, чтобы любой ценой оставить Путина. А он — что будет Медведев либо Сурков, почему-то ему виделись только эти двое. Ну и проспорила я, выходит. Сто баксов.

— *Нет, в случае примирения пропейте их пополам. Вышло же одновременно по-твоему и по его.*

— Ну, что ничего не изменилось — это видно. Вся эта смена власти — предлог к тому, чтобы они где-то вместе пообедали. Собственно, только это я и помню — что они пообедали. Все эти разговоры про два враждующих клана относятся, по-моему, только к среднему звену, ни на что не влияющему. Новый тип пришел не на верха — там, я уверена, долго будет Путин под разными именами, — но как раз в это среднее звено, не определяющее ничего, кроме стиля. В этом смысле стиль у Медведева есть, это стиль большинства людей, которые при нем процветут. Люди по тридцать-сорок, второе поколение новой элиты, обучались за границей, в России дольше месяца не выдерживают, так от нее устают, что тут же сбегают отдыхать. Главное их убеждение — что жизнь рулима, разруливаема, что нет ситуации, которую нельзя было бы урегулировать деньгами либо пиаром. Когда такой человек понимает, что мир неуправляем в принципе, — это для него такой же шок, как, я не знаю... как если бы сторонник всемирного заговора узнал, что все делается само. Полный крах мировоззрения. Очень рациональные люди, совершенно двухмерные. Общаться с ними возможно, отношения иметь — никогда в жизни,

и я уж скорей буду искать среди ровесников. Кстати, дальше у меня будет вопрос к тебе.

— *Ради Бога.*

— Поколение восьмидесятых — как выглядит со стороны?

— *Ничего особенно лестного я тебе не скажу.*

— Мне лестное не надо. Мне надо понять, есть у нас перспектива или нет.

— *Перспектива есть, вы не двухмерные, я со многими работал из этой генерации, слава Богу. Есть очень большая степень внутренней свободы. Есть очень большой природный ум, сформировавшийся без всяких влияний. Но практически минимум культурного бэкграунда, а только он и помогает преодолевать кризисы, когда они возникают.*

— Да, это точно. Но это же может нарасти, нет?

— *Если есть желание. Но вашим, по-моему, это не нужно. И это их главная ошибка.*

— Понимаешь... я это отчасти вижу на примере Земфиры. Я ее знаю немного. В гениальности ее у меня сомнений нет: никто другой не может так три часа держать на концерте, в одиночку, без группы и шоу, иногда с одной акустической гитарой. Череп открывается, когда я ее слышу. Ощущение, что передо мной оголенный провод, под страшным напряжением, и он меня соединяет с чем-то таким, куда, кроме нее, сейчас почти никого не пускают. И при этом я вижу, что ей негде взять сил, что она пробивается сквозь мир в одиночку, что вся мировая культура ей тут не поможет, и помощи взять неоткуда, и поэтому она почти всегда такая злая. Это существование в постоянном кризисе, кризис как форма жизни. Я для

нее вижу два исхода, и оба меня не устраивают категорически: либо самоуничтожение — в любой форме, либо уход куда-то...

— *В монастырь.*

— Типа. Может быть, куда-то совсем с глаз долой. Она ни минуты не менеджер, и поэтому я ее не вижу аккуратным распорядителем собственного таланта. Она не может эксплуатировать наработанное. Она будет идти неуклонно вверх, где все разреженной и холодней, — и когда кончатся силы, взорвется. И тут никто не поможет.

— *По-моему, Рената как-то пытается ее держать, поскольку ей эти проблемы знакомы, но она как раз умней.*

— Они вместе?

— *Думаю, скорее по-человечески, чем в другом смысле.*

— Хорошо, если так. Но творческие дела — единственная сфера, где не поможет никто, по Шнуру знаю.

— *Ты его действительно считаешь гением?*

— Больше в поэзии, чем в музыке. Да, он ничего не боится, по нашим временам это и есть гениальность. Он и живет так.

— *Был ли в профессии человек, который тебя реально чему-то научил? Может быть, режиссер?*

— Меня, слава Богу, в буквальном смысле — пойдя сюда, скажи так — не учил никто из режиссеров, доверяли. По-человечески больше всех дал Серега Бодров, а профессионально интересней всего смотреть, конечно, на Тодоровского. Он очень мучается сейчас, делая «Буги на костях».

— *Он их уже три раза доделал, по-моему.*

— Он не может найти финал. Уже и название сменил — будут «Стиляги», и концепцию поменял, и все, что хочешь. Но не выстраивается, не может эмоцию набрать и чувствует это и не скрывает. Тодоровский чем особенно прекрасен? — он невероятно умен и все про себя знает. Я не видела другого человека, который бы имел мужество столько про себя знать. У него не голова, а компьютер. Там сидят файлы эпизодов и есть самораспаковывающийся архив, который в конце концов должен все это свести в картину. Каждый эпизод продуман до деталей, и вот он начинает сводить — и чувствует, что картина у него без хвоста. Продумать — смог, а взорвать это в конце — не может, потому что этот взрыв рационально не просчитывается. И он пробует так, сяк, наперекосяк, и вся группа — очень сдружившаяся, где никто ни на кого не давит, где нет никаких понтов и дешевого самоутверждения, — не хочет расходиться, ждет, смотрит. Будет еще год искать — будем ждать. В конце концов найдет, всегда находил. Смотреть, как он это делает, — большая школа, а другой я бы и не приняла.

— *Но это школа режиссерская и сценарная, а не актерская...*

— Мы сейчас как раз пишем сценарий.

— *С кем?!*

— Несколько молодых ребят. Придумываем себе картину, какую хотим.

— *Про что?*

— Именно про безбашенную любовь. Про двух людей, у которых есть и взаимное притяжение, и даже взаимное сбережение, и даже уважение временами. Но нет ума, чтобы все это удержать и срежисси-

ровать, и они без конца срываются. Мне причем по ходу надо, чтобы герой был военный, и я не знаю, способен ли военный на такие страсти.

— *Способен. У того же Тодоровского в «Любовнике».*

— Вот «Любовника»-то я и не видала. Говорят, мужское кино совершенно, женщине не понять.

— *Тебе не хотелось бы попробовать сыграть в театре?*

— Очень хотелось бы. Я понимаю, что кино — все-таки вульгарное дело, грубое, там можно проскочить на приеме, на внешности, на хороших отношениях с оператором, который тебе ракурс подберет нестыдный... Три часа играть — это проверка. Театр проверяет непрерывностью. Очень хочу, но что играть? Я хочу сыграть совершенно сумасшедшую...

— *Это легче всего, патологию играть. Если не будет логики характера, всегда можно сказать: «Она же сумасшедшая!»*

— Нет, это самое трудное. Надо же, чтобы в патологию поверили. А это я бы могла, я знаю, по каким ступенькам туда спускаются...

— *Я бы тебе «Бесприданницу» предложил.*

— Ничего себе! У меня в жизни не было костюмной роли.

— *А хочется?*

— Попробовать — да. Это... она такая сниженная Настасья из «Идиота». Просто в «Идиоте» ей хватило ума понять, что перед ней святой. А эта еще и дура вдобавок, потому что перед ней Карандышев — и она видит в нем только смешного нищего, а вот Паратов — и она за ним поползет. Потому что вся эта мишура ее ослепляет совершенно. Да, я знала

бы, как ее делать. Она была бы у меня совершенно отвратительна и очень корыстна.

— *А прощать всех перед смертью?*

— Нет, я бы в этой сцене принципиально умирала молча.

— *Ну так давай попробуем!*

— Давай. Только Карандышева нет.

— *Шнура позовем.*

— Он или не пойдет со мной играть, или в конце убьет меня по-настоящему: так не доставайся же я никому.

— *Ну, напоследок: ты гордилась, что бросила пить. Легче стало?*

— Сначала было невыносимо. Психолог помогал, потом была таблетка, потом я расшилась. Теперь меня научили брать себя в руки практически в любой момент. Но брать себя в руки в некоторых состояниях очень противно. Я бы даже сказала, что брезгую брать себя в руки.

— *Так, может, начать опять, понемногу?*

— Что ты. Обратный путь ничуть не легче. Снова с психологом, только уже не завязывать, а развязывать... Нет уж. Я лучше поработаю над собой, чтобы взять меня в руки было одно удовольствие.

Виктор Астафьев

Веселый солдат Астафьев был удостоен всех мыслимых российских наград и всех мыслимых российских разностей. У него незадолго до этой встречи вышел пятнадцатитомник, земляки считали Астафьева главной гордостью и достопримечательностью нынешней Сибири, и миллионы читателей во всей Европе согласны в том, что в современной России писателей, равных ему по изобразительной мощи, нет. Тогда ему только что исполнилось семьдесят шесть. Он был крепкий и сильный старик с большим шрамом через правый висок и щеку, с низким голосом, густыми и абсолютно белыми волосами и черными бровями. В 2000 году он отмечал 55-летие семейной жизни.

— Марья моя Семеновна сама выучилась печатать и все мои вещи перестукала. Иные, как «Кражу», по четырнадцать раз. Я раньше много мог писать, «Звездопад» за одну ночь сделал, утром на Высших литературных курсах собрал ребят — невыспавшихся, в кальсонах — слушать... До пятидесяти страниц в день писал. Сейчас руки отнимаются, никак от инфаркта не отойду. А она все эти пятьдесят страниц в день перетюкивала, как могла, на старой «Москве». Мы и сейчас так работаем, поздно нам на компьютер переучиваться. Ну и вот, написал

я «Прокляты и убиты», первую часть. Отдаю ей на перепечатку. Она начала, потом приходит — Витя, я не могу это печатать. Давай, что ли, машинистку найдем. Я говорю: да не надо, Маня! Ну ее к Богу, эту вещь, я сам сколько сердечных приступов на ней нажил. Пусть себе в столе лежит, она маму не зовет и есть не просит. Она узнала, сколько стоит машинистку нанять, — нам дорого, разве продать что... Потом вижу, все-таки подходит, берет...

— *Хорошо понимаю ее первую реакцию, потому что до вас такой войны не было. Даже Василь Быков — страшнее его военной прозы поискать — говорил, что многое из того, о чем вы пишете, его память милосердно стерла.*

— Василь — прекрасный писатель и замечательный мужик, друг мой большой, а ему теперь всякая мразь жить не дает. «Жить трэба дома», — сказал он в недавнем интервью, — я по сентиментальности своей заплакал, когда увидел его сейчас по телевизору. Он же был могучий малый, Василь, а теперь похудел вдвое, и на Родине нет ему жизни... Говнюки какие-то пишут подметные письма ему — что, мол, предатель. А?!

Насчет того, что такой войны не было... Мне Симонов Константин незадолго до смерти своей сказал: пишите свою войну, мы свою написали. Мы уже убедили читателя, что главной фигурой на войне был журналист. Он иронизировал, конечно, но вранья о войне наворочен был такой вал, что читать можно было три, ну пять книг от силы. «Звезду» Казакевича, «В окопах Сталинграда» Некрасова и «Василия Теркина» Твардовского. Твардовский, кстати, как узнал, что все газеты у нас шли на рас-

курку, а его колонки «Теркина» в «Правде» мы специально на картон наклеивали, чтоб дольше читать, — страшно обрадовался и очень ко мне расположился. Все просил хоть одну такую картонку: не уцелело ли? Александр Трифонович, говорю, я сам-то еле уцелел...

Симонов, кстати, знал войну на уровне высшего командования и честно эту войну писал. В окопы не лез. А была литература парадная, вот как Бубеннов, например, сталинский лауреат. Я его знал немного. Его Сталин очень любил и всегда с днем рождения поздравлял. И пока Сталин не позвонит — в доме за стол не садились. Все ломится, бутылки строим, гости томятся, но до звонка — ни-ни. Потом он наконец звонит, жэлаит долгих лэт жизни, — Бубеннов, чуть не обоссавшись от облегчения, садится за стол и все за ним, пьют за любимого вождя. И писал соответственно.

Я свою войну начал показывать в «Пастухе и пастушке», была у меня повесть такая.

— *Очень люблю ее.*

— И я люблю. Я, почитай, с нее и начался. Поздно — в пятьдесят лет почти. Я вообще начал поздно, в тридцать с небольшим, а потом десять с лишним лет был обычный провинциальный писатель. В «Пастушке» что-то уже было, потому ее никто печатать и не хотел. Я с ней все журналы, все издательства обошел и опубликовал в покореженном виде только в «Нашем современнике». Все говорили: страшно. Ну может такой критерий быть в литературе?! Что я, выдумал? Стариков этих я выдумал, которые под наш же обстрел в своей деревне попали? Нет, я сам их видел: они из хаты перебежали на

огород, так и лежали, старуха сунула голову старику под мышку, их потом еще мертвых снарядами посеколо. А у нее из сумки носок начатый торчит, она ему вязала.

Я все помню. Память действительно милосердна, в обычной жизни многое стирается, мне война десять лет снилась и перестала. Но в подсознании-то откладывается, его не обманешь, и когда садишься писать — ты ведь с ним выходишь на связь, с этим своим вторым я, которое и есть бессмертная душа, я думаю. Оно все про тебя знает, все понимает. Ты в жизни от него прячешься, но пишешь-то им, из него. Так что память есть, есть, — другое дело, что она лучше была до контузии. Контузило меня в сорок четвертом, в правый висок ударило... Кстати, вот тебе примета фронтовика, я по ней настоящих узнаю (а то бывает пишет — чаще всего с осуждением, мол, я принизил народный подвиг, — а я вижу: врет. Не был он ни на какой передовой). Фронтовик говорит: меня подранило, его убило... «Я был ранен», «он убит» — это уже не то. Ну вот, контузило, я сознание потерял, меня в лодке на другой берег переправили, лодка полна воды — значит, кто-то голову держал, захлебнулся бы я иначе. Потом перевязали меня, черную повязку наложили, — я в госпиталь не лег. Не то чтобы был такой герой и обязательно хотел в строй, — но понимаешь, я детдомовец, мне важно было остаться в своем коллективе. Я понимал, что такое, когда свои. И вернулся.

Правый глаз у меня с тех пор не видит совсем, два процента, — я, как левша, научился с левого целиться. Но Нагибин, которого тоже контузило, мне сказал — он хороший был человек, Юрий Маркович,

и пил хорошо, и блядовал хорошо, и остановился вовремя, и писал замечательно... И как-то мы пи-ли — он мне и говорит: Витя, я перечитал то, что писал до контузии, — ну ни искринки, ни блестинки! А как ударило — так сразу и пошло.

— *И вы после ранения довоевали?*

— Да это еще и не ранение было, меня потом по-настоящему ранили, в левое плечо. Еле руку спасли, левая и сейчас слабее правой, — хорошо, котелок поднять могу. А ты думаешь, в сорок четвертом году были в окопах не раненные? Были такие, которых по три, по четыре раза зацепило, — кому воевать-то, Дима? Правда, после первого ранения ты уже не вояка. Пока не зацепило, все думаешь — пронесет. А как раз поймал пулю — все, уже страх. Но в сорок четвертом в окопах только такие и были, призывать-то уже некого. Он же всех положил, Сталин, всех, — одиннадцать миллионов рядовых, это целиком деревни средней России — они рядовых-то поставляли! Мне рассказывали, как в вологодских деревнях и десять лет после войны все бабы выбегали смотреть на дите, когда его кто привозил: мужиков не было, не от кого родить!

Я после войны думал: все, бляди, навеки перебили народу жилу, — и действительно так и не поднялись мы с тех пор, потому что не война это была, а хаос, кровавая каша. И махину эту немецкую мы мясом завалили и кровью залили. Ты знаешь, сколько погибло наших?

— *Тридцать миллионов как будто последняя цифра...*

— После войны называли двадцать семь, потом сократили до двадцати... Это первая война в миро-

вой истории, в которой мирного населения больше, чем солдат, погибло! И не только они это с нами делали, а сами, все сами... Я войну застал сцепщиком вагонов, полагалась бронь, но я же был такой идейный — как вошел в призывной возраст, сразу добровольцем! Так что паровозный наш парк я знал очень прилично, херовый был паровозный парк, и вагонов вечно не хватало. И вот не из чего эшелоны на фронт собрать, а усатый в это время шестьсот тысяч поволжских немцев везет в ссылку в Казахстан, блядь такая! Сами, сами морили себя. Ты, может быть, думаешь, в Освенциме немцы наших убивали? Они работать заставляли, а убивали друг друга наши же. У них в каждом бараке была своя особая тройка, как особое совещание на Лубянке, и они сами приговоры выносили. За пропаганду, за панические настроения, за непатриотические высказывания. И в колодце топили. Это тебе как?

— *Слушайте, откуда именно у наших такой инстинкт самоистребления?*

— Это не только у наших. Человек устроен и сложно, и очень просто. Он весь на балансе самоистребления и выживания. Чудеса приспособляемости, Дима, чудеса — и такая изобретательность в гибели, и такая нестигаемость в спасении! Знаешь, что меня больше всего восхищает в человеке? До умиления, до гордости? Ты не поверишь: рыболовный крючок и штаны. Эволюция рыболовного крючка — это конек мой, я люблю удить, много знаю про это, пока из Енисея всех осетров, всю стерлядь не перетаскали, это лучшее было занятие. И у нас на Овсянке, в деревне моей, на противоположном берегу открыли поселение первобытное. Слушай, как

мне было их жалко, этих перволюдей, — обувь-то еще не изобретена, ты представляешь, в нашем климате без обуви?! Так и сидели тут в своих шурах. Нашли там кости животных, ну и каннибализм там был, понятно, потому что не всегда же и мамонта поймаешь. А рыболовный крючок у них уже был, и была зазубрина на нем, заусеница. Та самая, из-за которой пацаны мучились, если крючок ненароком впивался в штаны: не достанешь, резать надо, а они единственные. Вот видишь, в этом сочетании людоедства, изобретательности и живучести — вся человеческая природа. Или возьмем штаны. Ты Брейгеля любишь?

— Конечно.

— Вот посмотри при случае на его крестьян. Сама форма штанов, так сказать, переменялась мало, в силу неизменности носителя, но сколько было модификаций ширилки, сколько вариантов! Сначала гультфик, чехол этот, потом на пуговицах, теперь молния... Ведь это охеренная изобретательность! Горжусь, горжусь человечеством.

Другое дело, что русские — не самый зверский, конечно, но самый изобретательный народ. И в смысле самоуничтожения, и в смысле выживания. Ты ведь знаешь, я в Вологде жил пятнадцать лет? И приезжает ко мне друг-однополчанин, хочет по улицам побродить, посмотреть знаменитый вологодский конвой. Поговорку «Вологодский конвой шутить не любит!» вся Россия знала. А ведь и киргизы охраняли, и казахи, и не так уж много русских было во внутренних войсках. Однако ж вологодский конвой! Друг мой возвращается и говорит: изобретательные, суки! Если в строю кто не в ногу пойдет

или заговорит — сразу всех положат. Но не на сухом месте, блядь, а нарочно так выберут, чтобы в лужу. Это по-нашему! Изощренность мучительства — это первое дело, но и чудеса изобретательности в крайних ситуациях, вот слушай. Мы в окопах страшно мерзли, дождь, ну там примостишься как-то, чтоб по спине не текло, — потому что как струйка по спине, по желобку потечет к жопе, к яйцам — все, ты не солдат, у тебя сразу чувство, что ты промок ВЕСЬ. И сижу я в таком окопе, уже весь-весь мокрый, сухой нитки нет, и подходит ко мне наш капитан, видя, что совсем мне худо. «А ну пей живо!» А это что? А это тройной одеколон. Да где ж он его взял на передовой в сорок четвертом году, вот скажи ты мне?! Однако достали, и заметь, это была моя первая в жизни выпивка. Мне до того негде было пить, то детдом, то ФЗУ, а в детстве я слишком часто видел пьяного отца и понимал, что это такое. Иногда алкоголизм родителей перекидывается на детей, бывает наследственным, а иногда дает наследственное отвращение к вину, потому что ты себе представляешь, до чего можно допиться. Но тогда, естественно, я этого одеколону целый пузырек хватил и вроде бы согрелся. Только говно до сорок пятого года, кажется, им пахло... Хороший одеколон делали.

Не-ет, русский человек живуч, да если он еще повоевал... Есть такая поговорка: меня не съешь, спереди костист, сзади говнист. Русского солдата убить мало — его повалить надо, а вот это хрен. На войне ты знаешь, кто выше всех ценился? Кого командиры старались из пополнения к себе отбирать? Тюремщиков и детдомовцев. Тюремщик — по при-

чине зверства. Детдомовец — потому что он умеет выживать, он так приладится к земле, когда спит, что ему тепло. Он как-то так и в окопе мостится, что его не сразу убивают. Я вообще почему после войны выжил? Потому что была эта школа оглядки. Человек, который три года был на передовой, так просто не дастся никому, — он опасность чувствует и успевает изготавиться, окопаться...

После войны ведь не легче было, не-ет, голод был и страх, и все гайки закрутили — слова не скажи. Мы в окопах мечтали о свободе. Я мечтал, что поступлю на филфак. Почему? Ведь и слова «филлогия» не знал, в моем сознании «филфак» связывался с филе... Самое страшное на фронте было не то, что убьют. Голод был, и сна не хватало, — ой, как не хватало сна! Это самая жуть, когда не спишь. Дружок мой, помню, грек из Мариуполя, так и засыпал в окопе — щекой на снег, таял этот снег под его лицом, а он ничего не чувствовал. Только одним его можно было разбудить: внимание, Донбасс! Это были наши позывные. Нам по ним ориентир передавали, наводку. Не дай Бог проспать. Сразу вскакивали. И так я уставал от голоду и недосыпу, что, веришь ли, мне несколько раз хотелось, чтоб убили.

А боялся я больше всего танков. Страшная вещь. Тридцатьчетверкам нашим хваленым башню сносило, а «Тигр» брался только прямой наводкой, и то не всегда. Ему в лоб попадет, а он хоть бы хны, прет себе дальше. Его только в бок можно было подшибить или в жопу. Это все в кино показывают, что его гранатой или бутылкой с зажигательной смесью можно уничтожить. Разве что уже проедет он

по тебе и на тебе подорвется. Вот их я боялся, да. Это потому, что над моим окопчиком однажды оказалась наша же стопятидесятидвухмиллиметровка и палила — ну я натерпелся! Она бы чуть повернулась — и все, мне конец, раздавило бы вчистую.

Представляешь, я все-таки в артиллерии — и то боялся. А каково мирным людям было, которых ими давили? Вот ты представь: Воркутинское восстание, пятьдесят второй год. Слышал про него?

— *Слышал, но смутно.*

— А про него вообще мало кто знает, хорошо — мне мужик рассказал, он был там в это время. Беспредел был жутчайший, в женских лагерях охрана развлекалась — баб нагайками хлестала: просечет ватник или нет? Вообще перед смертью Сталина зверство было невообразимое, ну и восстали. Все военные, с солдатским опытом, ВОХРу разоружили и перебили всю. Кто успел уйти — спрятались в тайге, кружили около жилья. Некоторые так и дожили в лесах до смерти Сталина. Они к поездкам тогда уже не выходили и на дорогах тоже: если поймают — все, пощады не будет. Ты знаешь, что с пойманными делали? Никаким татаромонголам не снилось: к лошади привяжут и пустят. Это свои — своих-то! Иногда, бывало, от беглеца одну ногу в лагерь привозили. Вот, кто-то ушел, а остальные пошли других баламутить, восстание поднимать. Я иногда думаю: Господи, ведь поднимись тогда весь ГУЛАГ — а сидели-то все больше фронтовики да бывшие военнопленные, все люди с опытом, выносливые и злые страшно, — вот это была бы революция! Вся страна бы вспыхнула, и другая была бы вся жизнь потом... Но их танками передавили. Даже не стреляли — по

живым людям танками проехали, и все. Вот и всегда они так, суки эти: по живым танками хрустят. А Зюганов теперь говорит, что восемьсот тридцать тысяч всего уничтожено при Сталине... Да если б и восемьсот тридцать тысяч — это что, мало?! Мало ему?!

— *Так что, вы думаете, жила действительно перебита у народа?*

— Я не знаю, на чем мы сейчас держимся. Но держимся, конечно, — нет у меня чувства, что страна погибла, я никогда тебе этого не скажу. Потому что и тут блюдетсЯ баланс: чтобы нация жила, в ней, по моим прикидкам, должно быть не меньше половины порядочных людей. Больше — это уже идиллия, век золотой... В Москве-то, конечно, эта пропорция нарушилась давно. Я Москву не люблю. Меня там охватывает апатия ужасная, я понимаю, что ничего не сделаешь, бесполезно все... Включу телевизор и сижу смотрю. Мне говорит приятель, у которого я останавливаюсь: ё.т.м., ты телевизор смотреть приехал? А хер ли мне еще делать у вас, говорю я?

Я спросил как-то академика Роальда Сагдеева, хитрого татарина, что теперь в Штаты уехал: скажи ты мне, только честно, сколько нам осталось? Человечеству-то в целом? Ведь не мы одни деградируем, я повсюду замечаю ослабление, попустительское какое-то. Ты думаешь, это только у нас сейчас нормальных книг раз и обчелся? Нет, везде какая-то пауза, какое-то страшное неразличение черного и белого на фоне вялости всеобщей. Сагдеев и говорит: я так полагаю, четыреста тысяч лет еще можно продержаться. Но не удивлюсь, если четы-

реста. И не особенно даже удивлюсь, если четыре. Самосохранение ослабло.

Сейчас со всех углов орут: сильной руки дождалась, сильной руки! Я вообще точно все рассчитал, на два месяца ошибся. Думал, Путина начнут ругать в мае, а они начали в марте, как стало ясно, что он выигрывает выборы в один тур. Тут угодить нельзя: я знаю, что Горбачев после Ставрополя по Москве сам ездил на «москвичке» — говорили: играет в своего, придуливается. Ельцин устраивал целый царский поезд — говорили: роскошествует. Ругать всех будут, но насчет сильной руки ты запомни мое слово: если мы сами себя ограничивать не научимся, нам так и не выбраться из этого российского маятника — то беспредел свободы, то беспредел гнета. Я веру всегда понимал как самоограничение, бабка моя вколотила в меня и веру в Бога, и такое ее понимание. И у коммунистов этих, мудаков, с Зюгановым их во главе, никогда ничего не выйдет, потому что они пытаются в одну телегу впрячь коммунизм свой и Бога, а так не бывает. Бог — он и есть самоограничение. И если мы не научимся держать себя в руках, то сами же себе потом такую твердую руку устроим — мало не покажется. Мы ведь останавливаться не умеем, сами же друг друга и передавим. Останавливаться, останавливаться...

— Ну, а паузе этой в литературе, в жизни вообще — предвидится какой-то конец?

— Что ты хочешь, когда нет различения добра и зла — литературы не бывает и жизнь преснеет, потому что напряжения нет. Двадцать первый век все равно легким не будет, вернутся и противостояния,

и напряжение... Сейчас все копится, откладывается. Лет через пять, я так полагаю, активизируется история и вместе с ней искусство. Раньше навряд ли.

— *Вы к Лебедю как относитесь?*

— Он неплохой мужик, хороший. И жена его хорошая. Он старается тут делать, что может. Говорят про него всякое. Ты не слушай. Это обычное злобствование на власть, у нас без него не бывает, оно, может, и к лучшему, он сам старается внимания не обращать. Но он делает, что может. О детях заботится. С бандитством борется.

— *А бывали у вас контакты с Анатолием Быковым?*

— Один раз я его видел. Тут, на перевале, когда я из деревни ехал, какая-то машина нас подрезала и остановила, чтобы мы, значит, дорогу дали. Быков едет. Я на охранника этого, что из машины вылез, кричу: ты на кого попер? Ты что меня пугаешь? Он за кобуру, я ему: я на войне автоматов немецких не боялся, а здесь пушки твоей сраной испугаюсь? Ты кто такой — базлать тут на меня?! Тут Быков выходит из машины, останавливает его: ты что, ты что, это же Виктор Петрович... Не сердитесь, Виктор Петрович, приходите на турнир, бокс посмотрите... Бокс, говорю, я и так посмотрю, а этого своего ты охолони, меня пугать без пользы.

А пытались часто, часто. Я когда напечатал «Ловлю пескарей в Грузии» — про грузин, как нация изворовалась и исхамилась, — мне все звонил один. Дабражэлатэл. Ми тебя зарэжим, сэмью зарэжим, отец-мать зарэжим... С отцом-матерью, говорю, вы опоздали маненько. Мать моя потонула на Енисее, когда к отцу в тюрьму передачу везла после раскулачивания. Перевернулась лодка. И отец, говорю,

помер лет пять как. А тебя, доброжелатель е..ный, я знаю. Кушал ты сегодня?

Он оторопел: да, кушал.

— Что кушал?

— Шашлык кушал, сациви кушал...

— Да, — говорю ему, — хорошо покушал! То-то теперь по всей стране говном и несет!

Но они поняли, сами потом поняли. Извинились за эту травлю. Дима, да разве я когда ненавидел какую-то нацию — евреев, грузин? Сколько из меня антисемита делали, сколько ввали! Сколько говорили, что я оскорбил грузинский народ! Грузины сами потом поняли всю меру падения, всю расслабленность. Проворовались, заелись, — ну куда это годилось, сплошной блатняк? То-то им в Абхазии по толстой жопе и врезали, хоть абхазов-то меньше, чем их... Ну, правда, там еще Шамиль Басаев пово-евал, чеченский отряд...

— *А что, хорошо воюет Шамиль Басаев?*

— Хорошо, веселый мужик! Я вообще хоть и понимаю, что он бандит последний, а не могу не сказать: молодец, дает жару. На одной ноге... Если враг храбрый, так чего ж не сказать правды. Жуков за немецкой первой танковой армией три года гонялся, там на Днестре тройной котел был. Мы, вокруг нас немцы, а вокруг немцев наши. Это март сорок четвертого года. Прорвались они тогда, ушли. Тоже воевать умели, потому и мы выучились. И наши в Чечне выучились, — что ж не сказать доброго слова про умелого врага?

Я другого не пойму. Ну вот звонят мне с радио «Свобода», говорят: Бабицкий, чего, мол, вы про все это думаете. Я им прямо сказал, — они, похоже,

даже не обиделись. Я, говорю, ничего не знаю, какой Бабицкий и что Бабицкий. Но я знаю, что если бы у нас на фронте такого бы поймали, корреспондента с той стороны, то его бы до особиста не довели, сразу б расх..рили. Я, конечно, понимаю, что это нехорошо. Но идет война, ё.т.м., и если бы по фронту у нас бегали солдатские матери — это был бы не фронт, а я не знаю что.

— *Я знаю, что с вами в Овсянке встречался Солженицын.*

— Да, три часа разговаривали. Всех на х.. разогнал, со мной сидел.

— *Вы ведь в свое время не подписали против него ни одного письма?*

— Не-а, не подписал. И Залыгин покойный не подписал, — вот достойнейший был человек! Звонят мне из «Литературной газеты», был там ответственный за связь с писателями, пухлый такой. Говорит: Виктор Петрович, надо бы подписать. Я говорю: а вы прислали бы мне написанное Солженицыным в полном объеме, я бы ознакомился, — но учтите, один глаз у меня не видит, читаю я медленно, — и тогда поговорим. Потом заместитель Чаковского уже звонит, через неделю: Виктор Петрович, подписали бы письмецо! Тут уж я откровенно послал на х.., я это умею, очень художественно их обложил, — из соседней комнаты выбегает дочь с дитем на руках: папа, кого ты так?! Что нам теперь, сухари сушить?! Но обошлось.

А в семьдесят восьмом году выступаю я чего-то в Омске, там Лигачев был секретарь. Вечер перед читателями у меня, спрашивают: кого вы считаете лучшим прозаиком современности? Я честно гово-

рю: Маркес, потом Солженицын. Лигачев убедительно просил больше так не делать.

Я с Солженицыным почти во всем согласен. В особенности в подходе его к самоограничению как основе национальной жизни: если мы не хотим внешнего террора, нам нужен внутренний голос, который нашепчет, что можно, а чего нельзя. В одном я только не согласен: я все-таки думаю, что «Тихий Дон» Шолохов сам написал.

— *В двадцать-то пять лет?*

— Это в тебе зависть говорит, потому что ты в двадцать пять лет, небось, только дробить перестал, а он уже «Тихий Дон» написал. Нет, любовь Григория с Аксиньей только молодой мог написать, надо, чтоб стоял до звона, такое пишется в тридцать лет. Дима, знал бы ты, чего мне сейчас стоит писать... Я, может быть, только на злости и пишу, на обиде. Она подзаводит меня. Потому что молодость у нас украли, и у меня, и у жены. Не было у нас молодости. Она же тоже была дура идейная, добровольно на фронт пошла, пятая в семье...

— *Вы легко уживаетесь? Я потому спрашиваю, что сам женат на сибирячке и знаю: и я не подарок, и сибирский женский характер не подарок.*

— Жена откуда?

— *Новосибирск.*

— Дело хорошее, повезло. Особенность сибирского, уральского, алтайского даже женского характера, видишь ли, состоит в том, что они очень долго терпят и молчат. Страшно долго. Они могут вынести твое пьянство, твое блядство, твой загул. Но потом, когда ты вроде как отойдешь и размяк-

нешь, эти тихие, тихие упрямые девки загонят тебе свой бурав и начнут буравить, буравить...

— *Это верно.*

— А ты терпи! Молчи и терпи, потому что в любой трудной ситуации эта баба будет тебе первая опора! Она никогда не пожалуется и все с тобой разделит. Она вынослива страшно, работоспособнее любого мужика, она радоваться умеет, она из ничего тебе сделает праздник. Но она упряма и злопамятна, и тебе только такую и нужно, потому что все мы, мужики, свиньи перед ними. И я перед Марьей моей Семеновной хорош.

Иное дело, что они все-таки милосердны, прощают нам — вот как мать моя отцу простила. Он запил, она поволокла его в Енисее топить, да пожалела. А через полгода сама утонула. Может, наберись решимости — жива бы была...

— *Неужели вам отца не жалко?*

— Как не жалко... Хотя, когда я вижу, как дети пьяного мужика из канавы тянут, — «Папа, папа!» — чуть не плачу, потому что ведь это себя я узнаю, это я так тянул, это меня он так отпихивал... Но он вообще, когда не пил, был мужик умный и, думаю, даже талантливый. Брат мой по отцу — его уж мачеха родила, отец на восемнадцатилетней женился, старше меня всего на восемь лет, — брат мой Володька, с которого списан Аким из «Царь-рыбы», меня все просил, когда я отца разыскал: привези ты его к нам, мы хоть посмотрим! Я привез, он потом сказал: да... забавный у нас папа! Действительно забавный. Красавец был мужик и стихи писал. Я кое-что переписал себе — смотрю, чуть подправить — будут совсем как настоящие... «Песня моряка», помню,

еще что-то... Сидит, бывало, и говорит: «Как же меня эта е..ная поэзия замучила!» Ты возьми на вооружение, в Москве скажи, друзья оценят.

— *В детдоме вам очень худо было?*

— В детдоме было ничего себе, хороший был детдом, и начальник его был отличный — из бывших царских офицеров, так что выправка даже в советском тряпье чувствовалась у него. А на двери барака нашего детдомовского была нарисована веселая такая рожа с большими торчащими ушами и подпись: «П....ц».

— *Это прямо символ всей вашей прозы. Лучшая иллюстрация.*

— Да, пожалуй.

— *Кстати, я из всех ваших поздних вещей особенно люблю маленький такой роман «Печальный детектив». Люблю за то, что там появился удивительный герой — действующий, не ноющий, всевыносящий. Откуда вы взяли этого мента?*

— Мента я этого списал с натуры, потому что хорошо его знал. Он в вытрезвителе работал, а мне поручили в газете — я был молод, начинал журналистом — написать о нем очерк. Он в вытрезвителе девку под холодную воду сунул, потом наголо обрил, а она повесилась. Со стыда, наверное. Послали меня писать об его зверствах. Я прихожу, сидит здоровенный мужичина: что, пришел писать, какой я зверь? Ну, пиши. И пошло! Тащат, тащат... Только он первых раскидал по койкам, вдруг втаскивают голую бабу. Голую, абсолютно, и вся в грязи. Орет, матерится! Он мне: ну, давай, действуй! Помой ее сперва, расспроси... Я вскочил: ну, говорю, тебя на х.. и с твоим зверством, и с твоими бабами, и с ними

со всеми! Не могу, нет больше моих сил! Он потом мне рассказал, когда сошлись поближе, что жена его заставляет при возвращении догола раздеваться: так от одежды несет. И сразу стакан ему наливает, чтоб он хоть поспал, — потому что иначе он заснуть не может. А мужик он был незлой, просто жил среди зверства и умел с этим зверством себя поставить.

— *И куда этот типаж делся?*

— Никуда не делся, если б делся — все б рухнуло давно...

— *Скажите... В «Веселом солдате» все правда?*

— Все. Чистая автобиография.

— *И немца того вы убили?*

— Убил. Четко видел, что убиваю, и выстрелил. Он хромой был. Потом еще посмотреть подходил на него, — он был старый. Меня за то и наказали, двух дочерей я похоронил. Одну маленькую, другой было тридцать девять лет, двое детей. Умерла от сердечной болезни. Мы с Марьей Семеновной жить должны за нее. Мне еще внукам помогать. У меня внук в МГУ учится, химик. Так я московские свои гонорары не забираю из «Нового мира», оставляю ему. Они в Москве лежат у редактора. Он много не возьмет. Только ведь и в МГУ у них свой рэкет, в общежитии. Обирают их. Ну, нашего не больно-то оберешь...

— *Как же вы, столько всего повидав, в Бога верите?*

— А что я, коммунист — в Бога не веровать? Ты пойми: человек же есть баланс, и в балансе этом все дело. Он не нарушается, ничего ему не делается! И потом, когда пишу — разве я не больше себя? Разве я не соприкасаюсь с тем, каким я задуман?

Человек же всю жизнь должен тянуться к Божьему замыслу о нем. Ты знаешь, есть связь какая-то между людьми, и я всю жизнь Исландию очень любил, Шотландию, север. Казалось, я и знаю их, хоть не бывал никогда. А когда попал — иду, как по родной земле. Все знаю, людей узнаю. И лица у них такие красивые — какими северяне должны быть в идеале, какими задумали их.

И бессмертие есть. Только не такое глупое, примитивное бессмертие, о котором говорили атеисты, когда с ним боролись, ввали, что нет его. Все тоньше. Человек больше себя, — вот я во что верю.

Ты водку пьешь?

— *Бывает.*

— Я так и понял. Правильно тебя жена пилит. Пошли, выпьем.

2000

Федор Бондарчук

— Пожалуйста, осторожнее, — предупредил один из продюсеров «Острова» Александр Роднянский. — Он только что демонтировал первую часть и сильно нервничает.

Но он не нервничал — или очень хорошо это скрывал. Я увидел человека, который уже принял важное решение и теперь готов ко всему. Не очень себе представляю, с чем бы это сравнить. Вообразите экстремала, который долго колебался, прежде чем прыгнуть с парашютом, и нечеловеческим усилием все-таки вытолкнул себя из люка. И после этой главной победы ему уже неважно, раскроется парашют или нет.

Бондарчук, которого я увидел, был бесстрашен и беспечен. Отвечал он быстро и коротко, совершенно не заботясь о том, что я подумаю и как интерпретирую сказанное. Видно было, что ничья оценка, кроме собственной, его уже не колышет совершенно. Давно я не видывал людей, проделавших столь масштабную эволюцию за каких-то два-три года. И уж точно давно не видел режиссеров, которых бы так перелопатила собственная картина.

— *Федя, я начну с неприятного вопроса: вы ожидали столь зловещих прогнозов и столь дружного неверия в ваш успех?*

— Ожидал, это вещь предсказуемая и отчасти знакомая. Я человек обеспеченный и прилично выглядящий. По традиционным интеллигентским представлениям — я хорошо понимаю, как они формируются, и не обижаюсь, — обеспеченный человек не должен прикасаться к святыням, у него это не получится.

— *Правду сказать, эти люди в России кое-что сделали для формирования такого предрассудка...*

— Конечно. Но это тоже снобизм, только на-выворот. Есть целая категория фэнов, которые по определению не в силах поверить, что я люблю «Обитаемый остров», что я его в детстве перечитывал без конца, что хотел его снимать... Меня радует такая реакция, не поверите. Я по опыту «Девятой роты» знаю: чем активней твою картину не принимает меньшинство, тем горячее полюбит большинство.

— *Ну, я вот «Роту» не особенно принял...*

— Я знаю. Но тут другой случай: у вас есть к картине претензии, вам бы хотелось ее видеть жесткой и черно-белой, у вас вопросы к ее смыслу — нормально. У других — претензии не к фильму, а ко мне: к тому, что фильм об афганской войне снимает ассоциирующийся с тусовкой человек по фамилии Бондарчук. А претензии к фильму я воспринимаю нормально — я знаю, что Никите Михалкову она не особенно нравится, но мне это не мешает им восхищаться и с нетерпением ждать, когда он закончит «Утомленных солнцем-2».

— *Он же вроде закончил?*

— Нет, там еще четыре месяца досъемок.

— *У него-то какие претензии к «Роте»?*

— Ему кажется, что там неопределенность в финале, что недостаточно громко звучит тема неблагодарной Родины, которая фактически бросила своих и сама себя предала... но я же не про Родину снимал, точнее, не только про нее. Это про мое поколение, ровесников моих, которых из трещащей по швам, но все еще нормальной позднесоветской жизни изъяли и кинули в большую войну. На которой убивают. И тогда вопрос: на чем будет держаться их готовность убивать и, если потребуется, умирать? Это жестокий довольно вопрос, потому что личного их интереса — нет. Война — чужая, земля — чужая, люди непонятные, с другим языком и законом. На каких основах удерживается человек, когда внешних у него нет? Можно призвать, заставить, муштровать в учебке — но потом, когда они попадают туда, видят воровство, прямое разгильдяйство, частое пренебрежение к человеческой жизни вообще, им нужны какие-то внутренние стимулы. Нельзя заставить человека хорошо воевать, удерживая до последнего эту забытую, в общем, высоту. Коротков в сценарии ставит вопрос именно так: почему они — все разные — одинаково героически там держатся и умирают, хотя это не люди сороковых годов, воспитанные в фанатизме? Вот на это я пытался отвечать, как уж получилось — не знаю, но что-то получилось, наверное, если ее смотрели и пересматривали, а многие называли культовой, хоть это не самое лучшее слово.

В «Острове», кстати, сходная проблема. У Стругацких Максим все время повторяет: я из Ленинграда. Он человек из коммунистического Полдня, в котором все социальные проблемы решены. И он

вступает в борьбу на Саракше просто потому, что не может видеть несправедливость. Я этот мотив оставляю в неприкосновенности, там это с самого начала заявлено, но нынешний зритель в коммунистический Полдень верит слабо. Чтобы Максим начал рисковать жизнью — и реально погибать несколько раз — за население чужой планеты, у него должен быть стимул более наглядный. Это может быть только любовь, потому что в романе Рада, в общем, возникает и действует редко. А у нас она — центральный персонаж, как и Гай. На глазах у Максима их мир рушится, поэтому он начинает их спасать... а дальше понимает, что отдельно спасти двоих нельзя. Что приходится сначала вписываться в этот социум, а потом взрывать его. И за что я благодарен Юле Снигирь, — это наша Рада, — так это за то, что она сумела сыграть такую девушку. Сильную и беспомощную одновременно. То есть я могу понять, почему этот герой кинулся за нее в такую авантюру.

— *А что, одного отворачивания к Неизвестным Отцам мало было бы?*

— Какое отворачивание, они же Неизвестные. Он не видел их до самого конца. Потом, опыт подсказывает, что отворачивание все-таки не такая сильная вещь, как любовь, особенно в двадцать с небольшим, как ему там...

— *Почему вы сами сыграли Умника? Опять кто-то соскочил с проекта в последний момент?*

— Нет, с этого проекта никто не соскакивал. В «Роте» мне действительно пришлось играть, потому что я за двое суток не смог найти замену Фоменко. А Умник — этого я присмотрел себе с самого нача-

ла. Это лучшая моя роль, без дураков. С ним все не просто. Он действительно умный, и притом истерик, потому что каждый день в десять утра и десять вечера его страшно крючит, страшней, чем других. Он к этому излучению особо чувствителен, буквально сходит от него с ума, — кстати, палку эту зубную, которую он закусывает во время приступов, ему придумал я. Отцы — чем они особо страшны? Они нежные. Максим Суханов, Папа, отдающий приказ об уничтожении Волдыря ласково и полупшепотом. Прокурор Умник, светский человек, немного декадент, нервный, все понимает. Знает, что рано или поздно все это излучение кончится. Втайне хочет, чтобы оно кончилось. Надеется удержаться у власти после этого. Нуждается в Максиме. Самый сложный из всей этой семейки... и самый раздавленный, в общем. Я таких еще не играл, мне интересно было. Сам грим рисовал, мимику придумывал...

— *А чей вообще дизайн всех этих машин, поездов, городов?*

— Концепцию придумал Кирилл Мурзин — он разрабатывал все визуальное оформление Саракша, вплоть до эмблем родов войск и шрифта пишущих приспособлений. Но если будут претензии — предъявляйте мне, потому что через мои руки все это проходило и часто видоизменялось. Я влезал во все — от конструкции танков до того хрустального гроба, в котором заморозили Раду...

— *Кстати, почему заморозили? У Стругацких ее никто не усыплял...*

— А! Это «Солярису» привет. Красавица в ледяных кристаллах — это Хари из той сцены, где она, если помните, пьет жидкий кислород.

— *Вы любите «Солярис»?*

— Раз сто пятьдесят его смотрел, наверное.

— *Но у вас и отцу приветов много...*

— Да, я с самого начала понимал, что разговоров об этом не избежать, так что есть прямые цитаты — из «Они сражались за Родину», скажем. Я эту картину люблю больше других — ну, еще «Войну и мир»... Я всегда знал, что будут сравнивать, что сравнение будет не в мою пользу, что после отца братья за батальное кино — вообще почти самоубийство, и потому у меня лет десять назад была идея достаточно безумная. Я хотел снять ремейк «Судьбы человека». Самой его знаменитой картины, режиссерского дебюта. Тоже начать с этой истории, но на материале чеченской войны. Тоже самому сыграть главную роль. Чтобы сразу — пан или пропал. Сценарий захотел написать Петр Луцик, и я уверен был — и сейчас уверен, — что он бы его сделал как надо, как только они с Саморядовым и умели. Он написал двадцать страничек и умер, и эти двадцать страничек до сих пор у меня в столе — может, напечатаю когда-то.

— *Почти уверен, что эта ваша попытка многим показалась бы кощунственной. И мне тоже.*

— А я понимал. Но только на таком риске и можно было заявить себя. Я долго тянул с «Ротой». Мне нужно было девять миллионов на картину, иначе не стоило братья. Это большое кино. И я три года ждал, запускался, останавливался — чтобы она была такая, как я хочу. И «Остров» такой.

— *Но на «Острове» вы потратили вчетверо больше. Как, кстати, себя чувствует человек, снявший фильм за тридцать пять миллионов?*

— Панически (*смех*). Чудовищно. Тем более что, помимо Федерального агентства по культуре и кинематографии, помимо «Midland group» Эдуарда Шифрина, там много просто наших денег — Роднянского, Мелькумова, моих... В картине я уверен. Я не уверен, что она эти деньги отобьет. Это ведь вообще... ну, глаза боятся, руки делают. Но если бы мне с самого начала четко представлялось, что такое 222 съемочных дня... десять месяцев преимущественно натурного военного кошмара... при весьма настороженном отношении населения, потому что во время танковых съемок, допустим, под Севастополем подавили ужей и тем нарушили экологию... Я не рассчитал сил, конечно. В середине съемок у меня был тяжелый нервный срыв, три дня в Москве отлеживался. Так что истерики Умника я хорошо себе представлял. Спасло только то, что команда была стопроцентно понимающая — гениальный оператор Осадчий, художники, актеры, все абсолютно.

— *С кем вам было проще всего?*

— Я вам могу сразу сказать, с кем было трудней. С Куценко, потому что его постоянно вело в гротеск. А давай у меня будет больше железных зубов? А давай у меня будет больше дредов?! Я все время его уговаривал: хватит, у нас не трагифарс, это нормальная военная драма, хоть и в фантастическом антураже. А легче всего — с Гармашом, потому что он понимает все раньше, чем ты ему начнешь формулировать. С Серебряковым, который вообще — идеальный партнер, слишком идеальный, как убедился я на съемках «Тисков». Мы там в драке так увлеклись, что помяли друг друга с некоторым

избытком и потянули мышцы — дня три не могли шевелиться вообще.

— *Как ее, кстати, снимали — драку эту? С двух камер?*

— С трех. Тодоровский, конечно, всегда был мне другом, но после «Тисков» стал...

— *Врагом?*

— Братом. Это была очень трудная картина. Ему же надо было из довольно плоского сценария сделать неоднозначное, в своем духе кино, и все это в кислотном стиле, с которым он не экспериментировал до этого. Нужно было необаятельное, отвратительное добро — и милое, человечное зло, и между ними герой. Так что наша с Лешей драка — нервный центр всего. Кстати, в Страннике есть нечто от этого ужасного мента из «Тисков».

— *Думаю, главные претензии будут именно к финалу — все-таки он совсем не по Стругацким. Странник, который так мочит и швыряет Максима...*

— Это не могло быть иначе. Тут два момента. Во-первых, фильм — не роман: роман можно закончить долгим диалогом двух землян и полуоткрытым таким финалом, когда понятно, что старое кончилось, но непонятно, что дальше. А в фильме, тем более в боевике, тем более когда в нем две новесные серии по два часа, когда все развивается по нарастающей — темп, масштаб, зверство... Тут нельзя ставить многоточие или точку — только восклицательный знак, шок. А во-вторых — это уже касается еценария, в котором Марина и Сергей Дяченко настояли именно на таком финале... Это ведь Странник, который провел на Саракше двадцать лет. Землянин, двадцать лет проторчавший

в аду, набрасывается на щенка, прилетевшего полгода назад. Это не «добрый усталый человек», каким он дан в конце книги. Нельзя жить на Саракше и не переродиться. Помните Штирлица, который в конце «Мгновений» думает про Берлин — «А у нас там...»? Это уже не просто Сикорски, это один из Неизвестных Отцов, хочет он того или нет. Я три года пробыл на этом Саракше и то переменялся...

— *Перемены по сравнению с «Ротой», кстати, очень серьезные. Вы понимаете, что я имею в виду.*

— Понимаю. «Рота» снималась в другое время, другая была страна, сегодня отовсюду поперли облучатели и властно проявились Неизвестные Отцы. Я это вижу и об этом говорю.

— *Но она ведь и стилистически другая...*

— Это как раз главное. Я политических задач себе не ставил, как и Стругацкие. Они — побочные, просто потому, что не в вакууме живешь. Для меня это еще и поиски Большого Стиля, почти полный отказ от клипового монтажа, длинные панорамы (примерно час этих панорам, очень красивых, я вынужден был вырезать и в авторской версии на DVD надеюсь восстановить). Мир стоит на пороге большой войны — я не знаю еще, будет она состоять из нескольких локальных или станет в итоге мировой, но противоречий на глобальную войну уже накопилось. Она может вообще стать последней, если серьезно. Поиски большого стиля всегда совпадают с эпохой большой войны, потому что про войну не будешь снимать клип. Про нее снимают эпос. Этому надо учиться заново, и смотрите, как это всегда совпадает. После монтажа аттракционов, после быстрого, нервного революционного кино

Эйзенштейн в предвоенные тридцатые снимает «Александра Невского» — медленную, скульптурную картину. После раннего оттепельного кино Тарковский делает «Иваново детство» и «Рублева», а отец — «Войну и мир», тоже нарочито медленную экранизацию, где само движение камеры подогнано под ритм толстовской фразы, огромной, иногда многостраничной... Что, он не мог это сделать в другом темпе, в ритме той же «Судьбы человека»? Мог, но ему нужна была сага. «Остров» — попытка заговорить на этом языке, только с учетом всего, что уже наработала любимая мной кинофантастика, от «Звездных войн» до «Bladerunner». Я все это люблю, это мое, это вошло уже в киноязык — задача в том, чтобы на этом языке заговорить о действительно серьезных вещах, потому что все очень серьезно. И все это чувствуют уже. Не надо, кстати, бояться, что этот большой стиль обязательно будет эпигонским — есть же молодая кровь, в конце концов. Я смотрю, что делают двадцатилетние, — они уже не мыслят в темпе клипа...

— *То есть сами вы уже к этому не вернетесь?*

— Вы будете смеяться, но я и сейчас снимаю клип для Мазаева. Это держит в форме, и вообще я этой школе благодарен — ремесло там осваиваешь, как нигде. Мне не стыдно за клипы для того же Мазаева, для Пугачевой, для Гурченко — это честная работа. Но кино я надеюсь делать иначе. Мы придумали сейчас огромный проект, страшно ответственный, ни слова о нем не скажу — думаю, он будет еще и потруднее «Острова». Но это не исключает в будущем какой-то совершенно минималистской, малобюджетной картины, если будет интересный

сценарий. Я не заиклен на блокбастерах, это гигантская работа, не всегда благодарная. Скажем, Балабанов снял «Груз 200» без всяких ухищрений, на простейших приемах, на медные деньги, и это высокий класс. А попытка повторить это — вплоть до сюжетных ходов — с более изощренным монтажом и крупным бюджетом кончилась ничем, и получился фильм «Тот, кто гасит свет», где мой любимый Артур Смольянинов вынужден изображать мента-маньяка. И он изображает, честно отработывает, — но сравнить это с тем, что он делает в «Современнике»...

— *Вы вообще довольны тем, как складываются биографии у ваших ребят из «Роты»?*

— Они удачно складываются, хотя востребованность — опасная штука для актера. Надо кормить семью, но при этом — уметь отказываться. Чадов — хороший актер, но отказываться не умеет. Смольянинов умеет.

— *Расскажите уж заодно, как вы нашли Василия Степанова, сыгравшего главную роль в «Острове».*

— Это хорошая история. Значит, три месяца проб... и ошибок, потому что все не то... я смотрю и профессионалов, и дебютантов, и людей с улыбки — нет, мимо, группа близка к панике. Тут звонит Золотовицкий: кажется, я вам в Школе-студии МХТ нашел парня. Туда едет наш директор по кастингу Паша Каплевич и кричит мне в трубку: да, да, да! Я назначаю пробы, вхожу в павильон — Степанов стоит спиной, — я прошу его повернуться и улыбнуться, сажусь к монитору... и падаю со стула. Идеальное попадание.

— *Он действительно такой большой?*

— Два метра.

— *А как работал?*

— Он работал хорошо, но там есть вещи, которые дебютанту сыграть трудно. Кое-где помогли монтажом. Помните этот анекдот — о Басове, кажется: «Смотри туда и делай, что я скажу, а сверхзадачу я тебе на монтаже склею». Но вообще если кто и выкладывался — то это он. И во втором фильме это действительно другой Максим.

— *А романа со Снигирь у него не завязалось?*

— Роман со Снигирь завязался, но не у него. И не у меня. Гадайте сами.

— *Я не могу вас не спросить о той самой тусовке, с которой вас часто ассоциируют, — с золотой молодежью, детьми гениев и т.д.*

— Это надо различать, потому что дети гениев — компания достойная, никто вроде бы не позорит фамилию. А тусовка — довольно отвратительная среда, в которой я стараюсь теперь появляться по минимуму. Это и возрастное, и профессиональное, и вообще разлом обозначился после «Роты». Некоторые люди не прощают успеха, и не только мне. Главная особенность светской среды во все времена и на любой территории — фантастическое лицемерие. Сюсюканье в глаза и плевки за глаза. Там бывает интересно и даже полезно повариться, но в общем фильм Филиппа Янковского «В движении» — ни минуты не преувеличение. Все фотографически точно. Он вообще реалист по преимуществу, Филипп. И я рад, что после фантастического и судорожного «Меченосца» он снял добротную, чувствительную «Каменную башку». Очень хорошую.

— *На телевидении вы продолжите работать или свернете и это ради нового имиджа?*

— Я не выстраиваю никакого нового имиджа. Я хочу снимать кино и постепенно начинаю понимать, как это делать. На телевидении у меня останется один проект, любимый — «Кино в деталях».

— *А Общественная палата?*

— Я там в комитете по культуре занимаюсь борьбой с пиратством. Это было когда-то важно, поскольку пиратство било по карманам режиссеров — моему в том числе — очень сильно. Нельзя поднять кинопроизводства, если с этим не разобраться. Но сейчас с пиратством разбирается сама история — через два-три года в Интернете будет можно скачать любую картину, да и уже, собственно... Что касается Общественной палаты как таковой, это не столько работа, сколько болтология. Реальных механизмов для влияния на жизнь у нее нет. Это такой способ для нескольких людей спозиционировать себя в качестве влиятельных деятелей.

— *Вы стопроцентно уверены, что фильм выйдет и ничто ему не помешает?*

— Нет. Но это уже неважно. Он есть, вот и все.

2008

Владимир Войнович

Войнович писал «Чонкина» пятьдесят лет. Это единственная сатирическая эпопея в России XX века, не считая зиновьевских социологических романов, и с годами, думаю, ее масштаб будет все очевиднее. Добавлю, что публицистика Войновича, при всей своей спорности, — блестящий образец жанра: нужна была его весьма крутая биография, чтобы настолько не бояться собственных крамольных мыслей. То, что он в свое время написал о диссидентах, — ничуть не комплиментарней и не лицемерней его же высказываний о советской власти: не знаю сегодня прозаика, которого бы так мало заботила конъюнктура.

— Я приятно удивлен третьей книгой о Чонкине — она не хуже, а временами лучше предыдущих. Хотя — будем откровенны — от писателя в 75 лет, пишущего третье продолжение, естественно ждать...

— Да, маразма. Вполне естественно, не спорю. Я потому и не заканчивал «Чонкина» так долго, что мне хотелось войти в определенное состояние, в котором я его начинал и продолжал. Это не так просто. Скажем, «Монументальную пропаганду» я без этого состояния мог написать. Или «Замысел». Или «Москву-2042». А «Чонкину» пришлось ждать тридцать лет.

— *Чем вы это объясняете?*

— Да если бы я знал, чем это объяснить, я бы сам себя мог вводить в такое состояние! Но это как-то извне делается... Наверное — и это единственное объяснение, которое я могу подобрать, — народ и вся страна вернулись сейчас в свой обычный вид, к наиболее привычному для себя статусу. А этот статус и порождает Чонкиных — тот характер, с которым легче всего в этой стране выжить.

— *Как вы относитесь к тому, что Чонкина называют русским Швейком?*

— Как к лестному для меня заблуждению, потому что он не Швейк, конечно, хотя о гашековской эпопее я думал, и любой, кто пишет об армии, обречен иметь ее в виду. Но Швейк — хитрый, идиотом он только прикидывается. Он жулик, ловкач, насмешник. В Чонкине ничего этого нет — он прям, бесхитростен, простодушен..

— *Рохля...*

— Есть немного.

— *И вы таким видите русского национального героя?*

— Почему нет? Он добрый, стойкий, любящий. И как только ему перестали мешать жить на каждом шагу — все у него стало получаться. В третьей книге он попал в Штаты. Стал преуспевающим фермером. Периодически к нему туда приезжает Нюра... И все у них прекрасно, хоть и грустно: жизнь-то прошла.

— *Я вообще начинаю думать, что Америка и есть русская национальная мечта...*

— Да, это верно. Настоящая, глубинная Америка, — я по ней поездил, — сбывшаяся русская

мечта: естественный человек в естественных условиях. А у нас — естественный человек в противоестественных. Они все время искусственные, ломанные. То одна оккупация, то другая. То свои коров отбирают, то чужие. Но Чонкин — как раз тип, умудрившийся выстоять во всем этом. И восходит он — вместе со Швейком — к андерсеновской литературной традиции. Потому что начало солдатского эпоса — две сказки Андерсена: про простого солдата — «Стойкий оловянный солдатик». А про хитрого — «Огниво». Чонкин — стойкий. В первоначальном сюжете, кстати, так и было придумано — что он вечно остается на посту и никто его не может оттуда выбить.

— *Слушайте, но почему же эти стойкие люди с такой легкостью позволяют помыкать собой?! Почему их захватывают и немцы, и свои?!*

— Ну, как видим, они и немцев погнали, и свои в итоге обломались... но то, что Россия опять вернулась к традиционному несвободному состоянию, когда естественному человеку опять не дают думать и работать, как он хочет, — довольно очевидно. Полный «Москорепп», как в «Москве-2042» (я так и хотел назвать ее вначале). Никто еще не требует звездиться перед образом Гениалиссимуса, но некий звездац в воздухе уже повис. У меня в «Монументальной пропаганде» было такое объяснение — раньше травоядные и плотоядные сидели в клетках, будучи одинаково несвободны. Потом клетки убрали. И плотоядные кинулись жрать травоядных. Травоядные просятся обратно в клетку — что же удивительного?

— *А договориться с плотоядными они не могут?*

— А это как у Искандера в «Кроliках и удавах»: какой договор у кроликов с удавами? Договоры начинаются там, где человеческое. А у нас еще очень много животного, примитивного, дикого — в «Чонкине» сказано, что народ наш после выпитого звероват, да и без выпитого звероват. Когда говорят, что «народ не готов к свободе», что же, это верно. Только власть должна не усугублять, не поддерживать всячески эту неготовность, а вытаскивать людей из дикости, расти вместе с ними. А она в этом не заинтересована, ей хочется, наоборот, поглубже всех загнать в тупость и беспомощность — телевизионная политика, во всяком случае, наводит на такие мысли.

— *Как, по-вашему: почему именно Великая Отечественная, в глумлении над которой вас все время обвиняют, стала такой святыней для России?*

— Других не осталось. Советские мифы кончились, Бог не прижился. Я бы очень хотел, чтобы война перестала быть фетишем, о котором слова не скажи. «Чонкин» вызывал упорную и последовательную ненависть у всех министров обороны подряд — хотя ничего кошунственного, даже на тогдашний взгляд, там не было.

— *Но мы привыкли к другому образу солдата. К смекалистому победителю. К Теркину — которого вы тоже явно имели в виду...*

— Клянусь, что нет. Фамилию «Чонкин» я услышал случайно, да и героя не придумал, а срисовал с натуры. Я служил в армии (четыре года, мой призыв был последним, кого в авиацию брали на четыре). Служил в Венгрии. Увидел, как по полигону бредет солдат-коновод, понурый, расхристанный,

зацепился ногой за упряжь... какое-то олицетворение жалкости и потерянности. А на другой день вдруг увидел его же — уже в телеге, радостно, с удивительной лихостью нахлестывающего лошадь, уверенно правящего ею, и эти два его образа сложились в Чонкина. Тем более что ему кто-то и кричал: «Чо-о-онкин!» И уж только потом, из читательского письма одного полковника, служившего там же, узнал, что фамилия его была не Чонкин, а Чомгин и сам он собою был якут.

Кстати, потом, когда Твардовский отказывался печатать в «Новом мире» первую часть, он с некоторым пренебрежением сказал: «Ну что это за фамилия — Чонкин?..»

— *Минуто. Если я правильно понял, вы пытались напечатать «Чонкина» в «Новом мире» в 1969 году?!*

— Да, а что?

— *Но вы же понимали, что это не может появиться ни в каком виде?*

— Я хотел легализоваться. Я по природе своей не стремлюсь в подполье, и вообще мне хотелось действовать в открытую. Предлагал я вам роман? Предлагал, не взяли. То есть меня уже нельзя было упрекнуть в подпольно-диверсионных намерениях. Я первую часть намеренно отдал в Союз писателей — читайте, ознакомьтесь. Они ознакомились. Экземпляр затерялся. И когда книга ушла на Запад, я с полным правом мог им сказать: а вот это, наверное, вы и передали. У вас же папка затерялась?

— *А кто ее на самом деле туда передал?*

— Сам не знаю. Петр Якир при личной встрече признавался, что он.

— *У вас в одной из сказок Сталин назван идиотом, да и в «Чонкине» он, прямо скажем, придурковат. Вы действительно так к нему относитесь?*

— Сталин был чрезвычайно значительной личностью. Он был гением бездарности, апофеозом ее, величайшим профессионалом зла, — но зло всегда бездарно. Он был именно бездарен, а не глуп. Глуп был Ленин.

— *Вот уж не думаю.*

— Это мой давний спор с Беном Сарновым, критиком и историком: он тоже не отказывает Ленину в уме. Но давайте оценивать по делам: архитектор, чьи дома рушатся, может быть и энергичен, и даже талантлив, но уж никак не умен. Ленинская партия и ленинское государство полностью переродились уже к тридцатым. Даже сталинская конструкция — уродливая, кособокая — простояла дольше, хотя все мины в нее заложил он сам и трещины были видны уже при его жизни.

— *Вам не кажется, что советское все-таки было прогрессом для России? Что на фоне России 1917 года СССР смотрится во многих отношениях выигрышнее?*

— Все, что привнесла советская власть, — это довольно односторонний технический прогресс. На фоне полного и безоговорочного регресса во всех прочих областях. Да и прогресс этот базировался на страхе и рабстве — я с одним чехом, тоже политэмигрантом, катался по Нью-Йорку и услышал, как он восхищается небоскребами. «И все это построено без использования труда заключенных!» Вспоминайте об этом иногда, восхищаясь советскими достижениями.

— *Но ваш друг Александр Зиновьев — вас и было-то в семидесятые годы двое настоящих сатириков, и оба оказались в Германии — в конце концов разочаровался в западной цивилизации и из критиков советского проекта превратился в его защитника...*

— Наша с Зиновьевым дружба возникла не из душевного родства, а из обстоятельств: мы действительно одновременно оказались в Германии, действительно оба писали сатиру, оба рисовали и выставлялись, более-менее общий круг... Но Зиновьев любил эпатировать общественное мнение: все хвалят советскую власть — он ругает, на Западе все ее ругали — он стал хвалить. Он был выдающийся фантазер.

— *Но вы не можете отрицать, что Западу в семидесятые—восьмидесятые действительно не было дела до здешних свобод. Америка и Европа использовали диссидентов, вовсе их не любя. Просто надо было ослабить конкурента, расшатать его позиции, а под это дело годились и борцы с диктатурой...*

— То, о чем вы говорите, — было, кто бы спорил. Но как раз процент идеалистов на Западе был исключительно высок. Были те, кто диссидентов использовал, были и те, кто искренне ими восхищался и желал России прогресса и свободы и не собирался ее покорять... Эти люди были примерно из того же теста, что нынешние антиглобалисты. Другое дело, что я антиглобалистов не люблю, но по крайней мере признаю их бескорыстие.

— *Я почти ничего не знаю о вашем славном пути от плотника до прозаика...*

— Я родился в Душанбе, потом мы жили в Ленинабаде, потом взяли отца. Взяли его потому, что

на военных сборах он допустил террористически-троцкистское высказывание.

— *Боже мой, какое?!*

— Их было три товарища. Один сказал, что построение коммунизма в отдельно взятой стране невозможно. Отец возразил, что возможно, но только после победы мировой революции. А третий донес на двух первых. Отец получил пять лет, и отсидел их, и вышел в начале сорок первого. Он приехал к нам с матерью в Таджикистан, и ему, как искупившему вину, предложили снова подать заявление в партию. Он наотрез отказался. Мать решила, что теперь его точно посадят снова, и потребовала, чтобы он забирал меня и немедленно отправлялся к бабушке в Запорожье. Так он и сделал, а мать доучивалась в пединституте. Мы переехали на Украину в конце мая, а 24 июня его уже призвали. И демобилизовали по тяжелому ранению в декабре — он восемь месяцев валялся по госпиталям, а потом доживал инвалидом.

Я с самого начала хотел поступить в Литературный институт, но меня не взяли. Допускаю, что из-за фамилии — в ней могло слышаться что-то еврейское, хотя она сербская. Я окончил фабрично-заводское училище по специальности столяр-краснодеревщик, но работал плотником. Потом служил в армии. Потом был инструктором райкома. Потом написал первую повесть и стал печататься. Трудовая моя биография вызывала у немцев большой интерес, и когда я в Баварской академии — уже несколько лет до этого состоя ее членом — выступал перед журналистами, все они дружно написали, что я таджикский рабочий, отягощенный еврейской

фамилией. Меня это здорово разозлило, и очередному интервьюеру я сказал как на духу: если вы тоже напишете, что я рабочий из Таджикистана, — я вас убью. Короче, я фигура мифологизированная и ничему уже не удивляюсь.

— *Вы большую часть времени проводите в России? Или в Германии?*

— Почти все время в России, не считая редких выездов на конференции или выставки. В Германии живет дочь, ставшая немецкой писательницей.

— *Как, по-вашему, в России есть сейчас сатира? Или только рифмующийся с вами Шендерович?*

— Странное дело, но в России сейчас всё — сатира. Возьми любую книгу, открой на любой странице — и будет сатира. Иногда ненамеренная, случайная, с самыми серьезными целями, но все равно смешно. Вот я прочел Минаева «Duxless» — сатира в чистом виде. Но, по формуле Белинского, у сатирика должен быть собственный положительный идеал. А сегодня — удивительная сатира без идеала. Поэтому и нет героя, сопоставимого, допустим, с Бендером или тем же Швейком. Нет авторского образа, сопоставимого с булгаковским. Есть картина смешного и пошлого мира, вырисовывающаяся из нынешней русской литературы, но нет человека, который бы с этим боролся или хоть знал, как надо.

— *Вы в семидесятые вызывали нешуточный гнев государства. Как вели себя коллеги и насколько вообще, по-вашему, порядочна писательская среда?*

— Среда гнилая, неприятная, исключения единичны. Даже очень крупный писатель не преминул сказать на одном из секретариатов, что мои книги

в Европе не пользуются никакой популярностью, хотя только эта популярность и была какой-то гарантией моей безопасности здесь. Даже самые порядочные люди то и дело проявляли слабость, зависть, элементарную трусость — ни о какой массовой солидарности с травимыми и изгоняемыми говорить не приходилось. Хорошо себя вели единицы.

— *Каким образом человек может к семидесяти пяти так сохраниваться? Может, спорт?*

— Весь спорт начался и закончился в двадцать лет... Совет могу дать только один — человек, который ведет себя прилично, сохраняется лучше. Нужно как можно реже поступать против совести — и будете в форме.

— *Ну и напоследок: именно вам принадлежит чеканная формула «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Останутся?*

— Так они уже остаются! Только необязательно будут нашими, в смысле советскими, российскими... Ну и что? Пора уже привыкать гордиться не только за себя, а за все человечество.

2007

Александр Гордон

Гордону удалось главное — он создал собственный жанр. И если раньше «лишний человек», одержимый байроновской гордыней, считал лишним прежде всего себя, Гордон, напротив, не без убедительности доказывает всем своим оппонентам, что лишние тут — они. Мало у кого мизантропия была так обаятельна. Вероятно, дело в том, что в его случае она распространяется и на себя.

— *Мне кажется, во время кризиса вы должны испытывать скорее радость...*

— Огромную. Я чувствую себя буревестником. Пусть сильнее грянет буря. Ощущение тугого воздуха под крыльями. Я убежден, что это не кризис, а полновесный п....ц — пусть не окончательный, но финал достаточно долгого либерального этапа. А я антилиберал и никогда не скрывал этого. Когда мерой всех вещей становится человек, а двигателем прогресса — его эгоизм и лень, это неизбежно кончится так, как сейчас. У человека — в частной его жизни — тоже бывает такой этап пересмотра ценностей. Вот сейчас он происходит в глобальном масштабе. Человечество переживает кризис среднего возраста.

— *И какова перспектива?*

— Если бы я мог сейчас просчитать перспективу, я был бы суперкомпьютером. Вероятнее всего,

спасемся, как обычно спасаются в среднем возрасте, — найдем какую-нибудь девушку, влюбимся... Духовной, чистой любовью, разумеется. «Половуха» кончилась, началась «духовка». Гламурная культура накрылась окончательно. Я вчера записал две очередные программы «Гордон-Кихот» — одна с Жириновским, а вторая с Николаем Усковым из «GQ». И в диалоге с Усковым высказал вещь, вполне искреннюю и для меня принципиальную: что вы называете гламуром? В стране миллионы деревянных сортиров. Вы их перестроили? упразднили? заменили биотуалетами? Нет, вы покрасили их плохой серебрянкой, какой раньше красили вокзального Ленина. Вот и весь ваш гламур. Думаю, что теперь человечество будут утешать чем-нибудь куда более духовным и демократичным — допускаю возрождение движения хиппи, какие-нибудь дети цветов, молодежные коммуны, «все, что тебе нужно, — это любовь»...

— *Религия, может быть?*

— Это вряд ли. Как многие мои друзья-священники, я убежден, что мы живем в постхристианском мире. Или — если вам не нравится «постхристианский» — скажите, что в языческом. Вот какого-то отката к язычеству — культурному, конечно, античному — я не исключаю... Кризисное время чем еще прекрасно? В это время я бессилен как аналитик. Тут не только мой ум, а лучшие умы человечества не справляются. И в результате пробуждается интуиция, а интуиция-то как раз и подсказывает мне, насколько все серьезно. Это похоже на мировую революцию во всемирном масштабе.

— *Максим Кантор недавно написал — «мировую коллективизацию».*

— Коллективизацию среднего класса, да. Один мой приятель, действительно серьезный бизнесмен, основатель первой местной фирмы, собиравшей компьютеры, мне приблизительно обрисовал ситуацию: весь мир в итоге поделится на три уровня. Население так называемого третьего уровня — кормить и развлекать, чтобы не раздражалось и не размножалось. Они лишены права на труд и пребывают в первобытном коммунизме. Средний класс, возомнивший себя хозяином жизни, низводится на роль пролетариата, значительно проседает в деньгах и перестает самонадеянно думать, будто от него что-либо зависит. От него по потребностям, ему по труду. Остается примерно двадцать процентов населения — элита, которая реально управляет миром, играя в свои игры. Там вам и рынок, и модернизация, и права человека. Это давно должно было произойти, и я согласен с этой схемой — с той только разницей, что не верю, будто этот процесс кем-то организован. Он, думаю я, — результат самоорганизации человечества. Но среднему классу действительно пора знать свое место. Они не миноритарии, не совладельцы, не соправители — они пролетарии.

Но для меня это лучшее время, понимаете? Это время, когда окончательно рушится, например, Америка, кризис которой я предсказывал так давно, что уже и забыл формулировки... Хотя, наверное, в главном они не изменились. Противоречия гигантские, никакого плавильного котла нет, национальная ненависть сильна, как во время граж-

данской войны, внешняя политика давно стала средством отвлечения от внутренних проблем, и никакого выхода, кроме дефолта, я для них в ближайшее время не вижу.

— *Но как же Обама, как же эйфория...*

— Что Обама? Обама как раз и доказывает, в каком они отчаянии. Будь надежда на благополучный выход — выбрали бы Маккейна. Он бы доказывал, что все идет как надо. Ведь когда выбрали Буша — совершенную куклу, — как раз и хотели этим доказать: смотрите, система так отлажена, что может работать сама! Но она не может. И даже большая война уже не выручит — духу не хватает, кончился весь. Доллар не держится решительно ничем, кроме своего безумного количества; но мир уже устал его держать. Руки опускаются. Сначала его мягко положат, а потом будут долго топтать ногами. Избрание Обамы еще обернется такой фрустрацией, какой страна не знала за всю историю...

— *Знаете, Саша, мне вот кажется, что вы по-блоковски радуетесь катастрофе, как все люди с внутренней трещиной. Что ваш собственный надлом резонирует со всемирным, и вы в восторге.*

— Да, конечно. Вы думаете, я буду возражать?

— *Не думаю, вы себя знаете достаточно... Просто всё ведь может обойтись и, скорей всего, обойдется. К весне благополучно подорожает нефть. Поднимется производство в Штатах, где полным ходом работают антикризисные меры. Россия за этот счет тоже начнет выползать. И все опять обойдется.*

— Очень возможно. Но, во-первых, это будет только временной отсрочкой — либерализм обречен, демократия в глубочайшем системном кризисе,

и крах демократического мифа в мировом масштабе — вопрос нескольких десятилетий. А во-вторых... что ж, если все опять обойдется, это будет моим глобальным личным кризисом.

— *Кстати, о долларе. Пусть его будут топтать, допускаю, — но не думаете же вы, что альтернативной мировой валютой станет рубль?*

— Нет, конечно. Будущее России в случае мирового кризиса очень печально, потому что у нее есть кризис собственный, ничуть не менее катастрофический. У нас сейчас не двоевластие — у нас безвластие, но не в Кремле, а в головах! И не позже лета будущего года я предсказываю довольно серьезные социальные потрясения, которые приведут...

— *К рокировке?*

— Нет. Она ничего не изменит. Точка бифуркации пройдена, шарик покатился, и какая лунка его притянет — в значительной степени вопрос случайности, везения... Думаю, Путин мог отчасти удержать ситуацию, отказавшись от этой демократической ширмы и вообще не пойдя на выборы. Это по крайней мере подтверждало бы его статус национального лидера, а контролировать демократию в России Западу некогда — со своими бы проблемами разобратся! Но он на это не пошел, разыграл комбинацию с преемником — а это, знаете, все равно как в анекдоте: жена из спальни переместилась на кухню... Зачем ты после этого нужна, на кухне-то?

— *И откуда вы ожидаете этой революции? Кто ее движущая сила?*

— То-то и оно, что никто. Ответственность — в поступках, а власть адекватно поступать разучилась. Я думаю, народ в России давно выживает от-

дельно от государства, ему просто дела до него нет. Это стало ясно уже в девяностые, потому что без горизонтальной самоорганизации он бы элементарно не выжил. Спасли горизонтальные, родственные, земляческие связи — все, что сегодня воплощено в «Одноклассниках.Ру». Народ сегодня — темная, никем не исследуемая, загадочная субстанция, никак себя не соотносящая с Кремлем и никак к нему не относящаяся. Есть где-то какой-то Кремль, и ладно, лишь бы не мешал... В случае серьезного внешнего конфликта за него никто не будет жертвовать собой. И больше того — я почувствовал это, когда три года назад создавал общественное движение «ОБРАЗ БУДУЩЕГО». Мне казалось — надо бросить несколько камушков и по расходящимся кругам судить о состоянии нации, о том, какая идеология ей ближе. Ну, бросили. А кругов нет. Есть огромное болото, всасывающее любой камень — бесследно. Не нужна никакая идеология. Население России — давно уже отдельная субстанция. Оно уползло. На Севере, в Сибири это особенно видно.

— *Иногда мне кажется, что советский проект был все-таки лучше нынешнего...*

— Нынешнего проекта, по сути, нет. А советский был хорош во многих отношениях потому, что был прежде всего культурным, не колонизаторским, а культуртрегерским, и добился на этом пути чрезвычайно многого. Грубо говоря, советские сумели создать текст такой силы, что он породил и подтекст, и контекст, все эти намеки между строк, которыми питалась интеллигенция... Как вы понимаете, реставрация его невозможна. Не нам же с вами его

воскрешать? Мы будем воскрешать не его, а свои воспоминания, и получится у нас Солярис — что-то сокращенное, неполное... Реставрация невозможна, но допустима реконструкция. И сделать это могут те, кому сейчас лет по двадцать-тридцать... могли бы. Если бы хотели.

— *Сохранится ли программа «Гордон-Кихот»?*

— Не думаю. Проект в нынешнем виде исчерпан. Если бы переформатировать ее в борьбу с идеями, а не с конкретными персонажами — как было, например, в программе об Аркаиме... «Собрание заблуждений» в новом варианте. Иначе я не понимаю, как работать. Интересно и даже полезно преодолевать два-три препятствия, но десяток ограничений?! Этих трогать нельзя, они друзья Канала. Этих тоже, они враги Канала, и, значит, мы будем выглядеть ангажированно. А этих можно, но их я не хочу. А те, кого я хочу, — ко мне не идут, даже после многочасовых и подробных уговоров. Можно так работать?

— *Нельзя, но ведь и вы не подарок. Виктор Ерофеев до сих пор повторяет, что вы своей программой сводили счеты с ним...*

— Виктор Ерофеев очень много врет, это давно стало частью его стиля. Программа снималась за три месяца до его участия в проекте «Последний герой-5» и соскока оттуда. Во время работы над программой я представить себе не мог, что он будет участвовать в островном ток-шоу. Есть же какой-то предел моим представлениям о нем... За неделю до выхода программы в эфир он видел окончательный монтаж и сказал редакторам спасибо.

— *Но зачем вы вообще даете трибуну всем этим персонажам?*

— Как спорить с человеком, если не дать ему высказаться?

— *Чем вы объясняете безумные по длительности и напору полемики вокруг «Закрытых показов»?*

— Ни одна из моих предыдущих программ не наживала мне такого количества врагов. Совершенно непримиримых. Мне будет кого пригласить на скамейку «против», когда я буду — надеюсь, что буду — обсуждать на «Показе» свой новый фильм «Огни притона».

— *Вы на это пойдете?*

— Сделаю все возможное. Осталось спросить канал. Картина закончена, это экранизация одноименной повести моего отца, Гарри Гордона, об Одессе конца пятидесятих, где проститутка, уходящая на покой, устраивает дома маленький семейный притончик. Кто видел, говорят, что это лучшая роль Оксаны Фандеры.

— *Чем, по-вашему, обусловлена эта атмосфера непрерывной истерики вокруг вашей программы?*

— Очень просто. У обывателя не осталось политики, нет смыслов, нет каких-то фундаментальных вещей, с помощью которых они себя определяют. Они начинают безумно любить какие-то фильмы, считать их духовными, добрыми — «Изгнание», «Русалку», даже «Груз 200»... И тут появляюсь я, какой-то сноб, и начинаю посягать на святое. А я действительно вижу фальшь почти во всех фильмах, которые мы обсуждаем.

— *Как вы полагаете, телевидение переменится в будущем году?*

— В каком смысле?

— *Для начала — в политическом.*

— Я сейчас расставляю всякие иголки-булавки, чтобы проверить: пройдет или нет? В программе про Жириновского их много, вот и посмотрим... Думаю, люк немного сдвинут, чтобы крышку не унесло, но серьезных политических послаблений не жду. У нас на кризисы никогда не отвечают послаблениями. Другое дело, что с телевидения исчезнут супердорогие программы, будут преобладать ток-шоу вроде «Закрытого показа», чрезвычайно дешевого в производстве. Вы знаете положение с рекламой?

— *Догадываюсь.*

— Боюсь, не догадываетесь. Это, похоже, падение втрое — все рекламные паузы будут забиваться анонсами собственных программ. Что уже и происходит, в общем.

— *Ничего, зато вернутся разговоры об актуальном и подскочат рейтинги.*

— А зачем? Все рейтинги нужны исключительно для рекламы. А рекламы нет.

— *И еще одно: не хотите — не говорите. Но зачем вы подписали письмо Липскерова против Ходорковского?*

— Что значит — письмо Липскерова? Это Липскеров подписал мое письмо. Я его автор. По стилистике оно — чистая пародия на письма тридцатых годов, вполне сознательная. А по сути — скажу вам с полной откровенностью: я ненавижу Ходорковского. Я много бывал на Севере, кое-что знаю, как он там обходился с людьми. Говорил с преподавателями РГГУ времен невзлинского ректорства. Представляю план Ходорковского по захвату власти и установлению собственного правления, вполне диктаторского. Да, можно сажать

не его одного. Да, его посадили не за его реальные преступления, а чтобы предупредить всех, как тут будут пресекаться попытки перехватить власть. Но Ходорковский — одна из самых отвратительных мне личностей в нынешней России. Я готов ему все это повторить, когда он выйдет.

— *А он выйдет?*

— Выйдет.

— *Саша, незаконно расправляться с противозаконной деятельностью — тоже не очень хорошо.*

— Это не расправа, а сигнал. Защита от переворота. Более чем реального.

— *Но тогда и вы должны быть готовы...*

— А я переворотов не затеваю. Хотя при этом то, что в России надо быть готовым, давно уже у каждого в генах.

— *Напоследок: нет у вас планов вернуться к «Хмурому утру»?*

— А зачем? Для своего времени это была революция, я сейчас преподаю ее студентам: построить программу не на конфликте ведущего с аудиторией, а на противостоянии двух частей этой аудитории, которую он тонкими приемами раскалывает. Но сейчас для этого есть Интернет, блогосфера...

— *Вы к ней сами-то как относитесь?*

— Нейтрально. Лично мне она не нужна, но я умею спокойно относиться к вещам, которые мне не нужны. Просто потому, что для кого-то они — единственный свет в окошке.

Игорь Губерман

Губермана давно уже не надо никому представлять. Имя его нарицательно уже давно — «гариком» называется ироническое четверостишие, содержащее едкую и точную поэтическую формулу. А фамилия — это такое обозначение образа жизни. Губерманом называется славянский еврей, длинный, костистый, носатый, любящий баб, выпивку и общение, смелый, умный, ни для кого не удобный, всеми любимый. В прошлом году ему исполнилось семьдесят. Несмотря на этот возраст, во время краткой выпивки с Губерманом во «Дворце нации» в Иерусалиме, где Россия гостила на израильской книжной выставке, барменша сказала Губерману:

— Босс просил вам больше не наливать.

Губерман расхохотался: «Я все еще выгляжу буйным!»

— *Игорь Миронович, давайте не говорить сегодня о еврейском вопросе? Я больше не могу!*

— Я о нем говорю и думаю на тридцать лет дольше вас, представляете, каково мне? Но боюсь, что мы его не обойдем. Он — из главных.

— *Я лучше про стихи. Вам не кажется, что короткое стихотворение, в сущности, идеально? Бродский говорил о главной функции рифмы — мнемонической, запоминательной. Чтобы стих попал в память и лежал там до поры, пока не пригодится...*

— У Иосифа было множество завиральных идей, которые он щедро выбалтывал разным людям в годы питерской молодости, а потом, как я замечаю, распахивал по своим англоязычным эссе. Все это всегда талантливо, убедительно, стройно аргументировано, чаще всего взаимоисключающе и почти всегда не имеет отношения к его собственной поэтической практике. Говорить он мог что угодно, а писал так, как считал нужным. Я, будучи старше его на три года, всегда воспринимал его как старшего, относился с громадным пиететом, и все-таки, извините, это ерунда. Поэзия совершенно не обязана запоминаться. Стихотворение должно быть потоком, мощным, огромным, оно тебя уносит или обтекает, но в любом случае это некое серьезное силовое поле. Я таких полей не создаю. У меня скромная деланка, особый жанр, восходящий, наверное, к рубайи. В шестидесятые годы они заново стали фактом русской поэзии — появились гениальные переводы Германа Плисецкого, тут же разошедшиеся на цитаты. Боюсь, что вызвать настоящий лирический трепет такое стихотворение не может, но может подбросить удачное выражение, чтобы ваши чувства не томились в немоте, или сформулировать безотчетное ощущение. На большее я и не претендую, а про себя все-таки повторяю длинные стихи.

— *Как вы относитесь к последователям? Вы ведь ввели моду на четверостишие...*

— Я ввел, а Володя Вишневский довел до логического предела, временами до абсурда. Короче одностишие может быть только однословие, хотя делают сейчас и это...

— Да, Лукомников.

— В общем, если после меня прибавилось иронических поэтов — я это ставлю себе скорее в заслугу, а не в вину. Отчаяние без иронии не так сильно, ирония его проявляет, что ли... и тут же врачует отчасти... В этом смысле, конечно, Иртеньев — сильный поэт. Одно его четверостишие точно попадет в анналы — «В здоровом теле здоровый дух — на самом деле одно из двух». Хотя он и в длинных вещах держит дыхание, прямо скажем.

— *Что вам сейчас важнее — проза или гарики?*

— Гарики я продолжаю писать во всякое время, это стало функцией организма, почти незаметной. Мысли продолжают являться, придавать им форму легче с помощью гариков, и если есть в этом смысле какая-то эволюция, так разве что по части некоторой прогрессирующей элегичности. Но у старости свои радости, уверяю вас. Никуда не спешишь. Ни за чем не гонишься. Почти никому не должен. По недостатку тестостерона дольше не кончаешь — это серьезный плюс, да... А проза — она же автобиографическая в основном. Это такой способ вспоминать свою жизнь.

— *Давно хочу вас спросить: вы всю жизнь дружите с подпольными художниками, коллекционируете авангард...*

— Есть такое дело.

— *Вам не кажется, что это все-таки тупиковый путь? Разрушение искусства, отказ от его главных конвенций?*

— Неприятие русского авангарда проистекает обычно от двух причин: либо от несостоятельности интеллектуальной — когда человек элементарно не

может его понять, либо от финансовой — когда не может его купить.

— *Вы давно эту формулу заготовили?*

— Век воли не видать, выдумал только что. Вы первый человек, спрашивающий меня об авангарде.

— *Ну так разве не он в конце концов воплотился в советскую эстетику? В дегуманизированное, расчеловеченное искусство?*

— Вот ровно, ровно наоборот! Советская-то эстетика его и задушила. Все бред, что авангард якобы породил стилистику советской эпохи. Советская-то стилистика была торжеством реакции в чистом виде. Я тут недавно в Израиле прочел занятную статью: ее напечатали в «Зеркале», одном из лучших здешних журналов. Это мемуарный текст Алексея Смирнова «Заговор недорезанных» — о том, как якобы большевистский переворот в искусстве осуществляют именно недорезанные белые офицеры. Бреда в тексте хватает, но тенденция уловлена. Одним из главных бойцов с авангардом, с так называемым формализмом, был такой Борис Иогансон — учитель, кстати, Ильи Глазунова. Так этот Иогансон был офицером, служил у Колчака, писал его портрет — и прославленную свою картину «Допрос коммунистов» писал с полным знанием дела. Он-то и превратил советскую эстетику в пир сильно ухудшенного русского классицизма — причем он был не один, конечно, таких «бывших» хватало. Лучшее, что было в русском искусстве двадцатого века, — Филонов, Кандинский, Малевич и те, что были рядом, — русский революционный плакат, и Татлин, и футуристические проекты городов будущего, неосуществимые, грандиозные.

В шестидесятые годы это гипнотически действовало. Искусство никогда уже не станет прежним после авангарда — или учитесь его понимать, или смиритесь.

— *Кстати, вас посадили за коллекционирование?*

— Нет, батенька, за скупку краденого и сбыт. Поскольку сажать за политику меня было неинтересно. Они уже к тому времени устали от политики. А меня легко было взять по уголовке, я дружил со всеми: с отъезжантами, с отказниками, с диссидентами, с художниками, с фарцовщиками... Таня, жена, встречая меня дома, докладывала: «Фарцовщики не звонили, евреи не звонили». Ну, они и решили — пришить скупку краденых икон. А поскольку икон у меня не нашли, потому что я их не покупал, то посадили уж заодно и за сбыт.

— *Вы весь срок отсидели?*

— От звонка до звонка, с 14 августа 1979 года по 14 августа 1984 года.

— *Главное впечатление?*

— Очень скучно было, мерзко, но и интересно одновременно.

— *В «Прогулках вокруг барака» у вас есть эпизод, как вы пожалели молодому парню отдать табак, отказали, а потом догнали и отдали все. А когда у него потом попросили, он вам ничего не дал.*

— Помню, помню. Это был один из сильнейших приступов раскаяния за всю лагерную жизнь.

— *Раскаяния в чем? Может, не надо было давать ему?*

— Давать, когда просят, всегда надо. Главный урок, который я вынес из лагеря, — с ними, пусть даже с нелюдью, надо вести себя по-человечески.

Иначе сам себя потом так заешь, что по сравнению с этим все чинимые ими неприятности покажутся сушей чушью.

— *Вы недавно снялись в российском документальном сериале о блатном мире. Он эволюционирует как-то?*

— Эволюционирует в очень неприятную сторону, то есть, проще говоря, разлагается. Как и многое в России — под маской благополучия эти процессы разложения заметно ускорились, кажется. Как в теплице. В блатном мире давно уже все продается, появились так называемые назначенцы, то есть смотрящие не из числа воров, а назначенные, часто вообще без отсидок и без всякого криминального опыта. Своего рода наемные менеджеры. Один из последних настоящих воров в законе умер несколько лет назад — нынче кого только не коронуют... Ну вот, выступаю я давеча в России, в хорошем городе, который вам назову, но вы не печатайте. После концерта в артистической у меня какой-то народ толпится, разливается водка, все по-людски. Внезапно все исчезают почтительно — входит шикарный молодой человек с двумя не менее шикарными шмарами и преподносит мне знаменитый воровской подарок. Нарды, явно зэковского изготовления, весьма художественной работы, с выжженным на доске волком, все по чину. Я эти поделки знаю и ценю, а к нардам еще в лагере пристрастился. Я смотрю на него и говорю: спасибо, старик, но извини меня — ты ведь не сидел никогда? Он: да, никогда. Я: а как же ты... смотришь здесь? Он: я назначенец, меня сюда поставили. Я сильно изумился, правду сказать: город немаленький,

должность серьезная... Ну, пришли новые кадры, что поделаешь. Ни о каком кодексе чести тут уже говорить не приходится — цинизм голый.

— *Вы что, с первого взгляда можете определить сидельца?*

— Порой могу. Запах от таких людей, что ли.

— *Как вообще выглядит Россия отсюда?*

— Ну почему же отсюда, батенька. Я ведь и оттуда ее хорошо вижу, у меня, слава Богу, поездки регулярные, жилье в Москве... Плохо выглядит сегодня Россия, стыдно выглядит, не будем прятаться от этого. Весь мир черт-те на что похож, но и Россия не исключение.

— *И что особенно плохо?*

— Интеллигенция, ее положение, ее состояние. Мне стыдно за то, как она живет — нищенски, скудно, забито. Стыдно и за то, как она себя ведет — приспособленчески, молчаливо, кисло... Не по масштабу страны себя ведет, прямо скажем. Россия была великой всегда, но величие ее зависело не от территории, а от интеллектуального потенциала, распределенного крайне неравномерно, зато уж в высших своих проявлениях поражавшего весь мир. Сегодня этот интеллектуальный потенциал снизился до пределов жалких и стыдных, а что творится с гражданской совестью — я вообще молчу. Это не значит, что интеллигент обязан быть нелоялен, что вы. Но он думать обязан, ставить себе вопросы, говорить вслух, когда на его глазах происходит свинство. Даже в глухие, застойные семидесятые Россия была не в пример достойней, нежели нынче. Я думаю, жить там сейчас физически трудно — давит.

— *А в Израиле?*

— Мне хорошо в Израиле. Хотя здесь очень много дураков. Как еврейский мудрец несравненно мудр, так и еврейский дурак несравненно, титанически глуп, и каждый убежден в своем праве учить весь мир. Что поделаешь, страна крайностей.

— *Нет у вас ощущения, что она обречена?*

— О том, что она обречена, говорят с момента ее возникновения, это уже добрая примета. Если перестанут говорить, что мы обречены, — это будет повод насторожиться.

— *Но нет у вас ощущения, что назначение еврея — все-таки быть солью в супе, а не собираться в отдельной солонке, вдобавок спорной в территориальном смысле?*

— Я слышал эту вашу теорию, и это, по-моему, херня, простите меня, старика. Вы говорите много херни, как и положено талантливому человеку. Наверное, вам это зачем-то нужно — может, вы так расширяете границы общественного терпения, приучаете людей к толерантности, все может быть. Я вам за талант все прощаю. Но не задумывались ли вы, если серьезно, что у евреев сегодня другое предназначение? Что они — форпост цивилизации на Востоке? Что, кроме них, с их жестковью, и самоуверенностью, и долгим опытом противостояния всем на свете, — кроме этого, никто не справился бы? Ведь если не будет этого крошечного израильского форпоста — и весь этот участок земли достанется такому опасному мракобесию, такой агрессии, такой непримиримой злобе, что равновесие-то, пожалуй, и затрещит. Вот как выглядит сегодня миссия Израиля, и он, по-моему, справля-

ется. Да и не собралась вся соль в одной солонке, она по-прежнему растворена в мире. Просто сюда, в самое опасное место, брошена очень большая щепоть. Евреи, живущие здесь, — особенные. От прочих сильно отличаются. Ну и относитесь к ним как к отряду пограничников, к заставе. Характер от войны сильно портится, да. Он хуже, чем у остальных евреев. Раздражительнее. Ну так ведь и жизнь на границе довольно нервная. Зато остальным можно чувствовать себя спокойно...

— *Религиозны вы тут не стали?*

— Я не религиозен, я не атеист, без диалога с Богом жизнь моя была бы немыслима, но никаких представлений о том, что будет с моей душой дальше, у меня нет. Еврейская религиозная мистика представляется мне чрезвычайно глубокой, но специально я ею не занимался.

— *Что вы планируете издать в ближайшее время?*

— Книгу гариков о болезни. Я болел раком и вылечился, в Израиле медицина серьезная.

— *Неужели вы можете об этом писать?*

— А что с этим еще делать? Рак прямой кишки — сильная поэтическая тема. «Не видя прелести в фасаде, судьба меня словила сзади».

— *Не понимаю, как это можно...*

— Да больше никак и нельзя. Если еще и стихов не писать, совсем загнешься. Это относится не только к болезни, но вообще к противоборству со всеми гадостями: литература — главный способ борьбы с негативным опытом. Она утилизирует его, проговаривает вслух. Литератор — вообще единственный человек, способный извлекать пользу из всего. Синявский любил цитировать услышанное в лагере:

«Писателю и умереть полезно». Великий был человек, кстати, автор лучшей лагерной прозы на моей памяти — «Голос из хора». Шаламов как писатель будет помощней, но я его не перечитываю, страшен он мне и безысходен. А Синявского перечитываю, потому что Синявский в высшей степени душеполезен. И Даниэль, конечно, — о, какая мощная поэзия была у него в лагере и какие письма! И какой был мужик — ни одна баба устоять не могла.

— *Да полно, он был вовсе не красавец...*

— О! Но он был самец, и чувствовался запах самца. Мощь чувствовалась. Я с ним дружил и преклонялся. Вообще, когда мужчина любит это дело, когда женщины льнут к нему, — это серьезный критерий человеческого качества: женщина чувствует фальшь, слабину, она обходит жестокого, но чувствует надежного.

— *Слушайте, вот вы вроде хорошо разбираетесь в людях. Как же вы можете дружить с писателями, которые почти всегда невыносимы?*

— А никто не заставляет вас контактировать с этой невыносимостью. Контактируйте с тем, что в них есть настоящего, а остальное выбрасывайте. Это не сложно. У меня был гарик на эту тему — «Люблю своих коллег, они любезны мне. Я старый человек и знаю толк в говне».

Евгений Гришковец

Сначала Гришковца все хвалили, потом, как водится, почти все ругали, но на него это, кажется, не произвело особенного впечатления. Он нашел когда-то форму драматического монолога, потом придумал свои странные речитативы под группу «Бигуди», сейчас додумается до чего-нибудь еще — и снова все будут страшно досадовать: это же лежало под ногами, как я не додумался!

— *Почему ты все еще живешь в Калининграде? По моему, статус давно позволяет и даже требует переезжать в Москву.*

— В Калининграде? Просто потому, что город понравился. Была гастрольная поездка по нескольким городам (перечислять не стану, города обидятся) — и я выбрал его, о чем до сих пор не жалею. Мне просто пора было уезжать из Кемерово. Я настолько там оброс — людьми, связями, привычками... Сам город вплеп меня в свою структуру и не давал заниматься ничем новым. Семь лет я делал там театр. Фактически он был единственным. Сначала меня любили, потом привыкли, потом я надоел.

— *То есть в «Городе» все более-менее точно?*

— Абсолютно. Я переехал восемь лет назад. И два года сидел тихо, работал лабораторно — выдумывал «Как я съел собаку» и другие моновещи. Это был но-

вый жанр, в Кемерове я не делал ничего подобного. Хотя уже думал о чем-то таком. Потом стал показывать это — в том числе в Москве... В Калининграде я не совершил двух ошибок: во-первых, не стал вращаться в город организационно. Не стал делать театрик, не занимался никакой стационарной работой, ни от кого не зависел — вообще не пытался структурно вписаться в город. А во-вторых, не переехал в Москву, когда начался успех там. Я человек принципиально нестоличный. И, как сказано у меня в новом сценарии, у провинциала всегда одной возможностью больше. Он может уехать в Москву. Это всегда маячит на заднем плане жизни. Вероятно, по складу своему я человек, которому нужна такая возможность как фон — чтобы никогда ее не использовать, впрочем. Я не очень хорошо умею говорить «нет». И поэтому, когда меня зовут сходить туда-то, выступить сям-то и посмотреть то-то, мне проще сказать: «Я в Калининграде». И не соврать при этом.

— *То есть ты и в жизни — в том числе театральной — находишься несколько в Калининграде?*

— Именно так. Не в центре, не в толпе и при этом близко к Европе. Калининград — последний большой военный трофей России. Правда, в моем выборе этот фактор роли не играл. Просто город во всех отношениях пограничный, что всегда интересно, чудесный с точки зрения климата, — сейчас тут плюс одиннадцать, — приятный с точки зрения копченого угря, прекрасного пива... Яблоки падают во дворе... Я живу в старом немецком доме, построенном еще в двадцатые годы. При этом город абсолютно русский, исключительно русскими населен-

ный... Помню, как я впервые сюда приехал и пошел на могилу Канта. Ты знаешь, кстати, что Кант умер гражданином России?

— *Слышал.*

— Ну вот. А теперь он еще и похоронен на российской территории, так что все логично. И на могиле его, на памятнике, было белой краской из баллончика выведено «Х..». Своего рода критика чистого разума. Вроде клейма, удостоверяющего, что город наш.

— *И Кант тоже.*

— Конечно.

— *А если его все-таки отдадут немцам?*

— Я почти уверен, что при моей жизни, пока я здесь, этого не произойдет. Скорее Европа придет сюда, что, собственно, уже и происходит и это хорошо. А если все-таки отдадут... Использую последний шанс провинциала — уеду в Москву.

— *Мне как москвичу обидно. У москвича тоже есть великий последний шанс — уехать в провинцию.*

— Это не шанс, а возможность подвига. И в жизни действительно всегда есть ему место, но согласись, что это крайнее решение. Провинциалов, стремящихся в Москву, — миллионы, а подвижников, покидающих Москву, — единицы. Про это, собственно, и фильм, который я сниму в будущем году.

— *Можно сказать, что после кемеровского театра и моноспектаклей последних лет начался новый Гришковец — третий? И что это будет?*

— Вот фильм это и будет. Правда, уже четвертый Гришковец, потому что после моноспектаклей была еще проза — «Рубашка», «Реки», «Планка». А сейчас я написал сценарий, который называется «(Москва)». Москва в скобках. Это монолог прин-

ципиально нестоличного жителя, провинциального гостя без обратного билета.

— *В каком смысле? Ему не хватает на билет?*

— Нет, просто он приехал надолго. Главная цель его приезда — как следует все тут посмотреть и прийти к мысли, что он правильно делает, оставаясь дома. Монолог на фоне шестисот объектов в городе — снимать придется много.

— *Можно подумать, что конфликт Москвы и провинции — в России чуть ли не главный...*

— Не только в России: в любой большой стране с мощной столицей и серьезными расстояниями. Но Москва — на фоне прочих мировых столиц — уникальна вот чем: допустим, кто-то из французов едет в Париж. И говорит: я хочу пройтись по Монмартру, по большим бульварам, по Трокадеро... выпить рюмку в «Ротонде»... Англичанин собирается в Лондон: увидеть Биг-Бен, Гайд-парк, Вестминстер, Пиккадили и Бейкер-стрит. Но мало кто из русских — как, впрочем, и иностранцев, — едет в Москву для того, чтобы пройтись по Красной площади. Никто не едет затем, чтобы прогуляться по бульварам. Сюда едут не гулять. Поэтому Москва — самый интересный город. И поэтому ее так колбасит.

— *А колбасит?*

— А ты не чувствуешь? Ее от чужих самолюбий, от конфликта приезжих и местных буквально разрывает. Поэтому я хочу сделать картину примиренческую. Правда, в последнее время конфликт как-то ослаб — я это заметил, когда в провинции полезла вверх цена на квадратный метр. Разница нивелируется. До конца никогда не уничтожится, конеч-

но, — но кое-какая стабильность стала ощущаться и за пределами Москвы.

— *А тебя самого не бесит эта стабильность? Тебе не кажется, что это тонкая корка на кипящем, пузырящемся, гниющем болоте?*

— Так и есть, с двумя поправками. Первая: корка очень толстая. Вторая: так было всегда. Россия именно и состоит из бушующей лавы — и коры с огромным запасом прочности. Представь себе сырое яйцо: внутри все жидкое, живое, текучее. Но раздавить его снаружи — яйцо так устроено — почти невозможно. Разбить — запросто. А раздавить в кулаке — никак. Россия и есть такое яйцо. Она неуклонно самовоспроизводится в одних и тех же формах. Она — абсолютная константа, и больше скажу — каждый ее город так же постоянен, бережет и воспроизводит собственные черты, свое личное сочетание величия, убожества, спеси, душевной широты... Россия все вбирает, все осваивает и ни в чем не изменяется — яйцо тоже можно покрасить, но сути его это не изменит. Хоть оно красное, хоть трехцветное, хоть в крапинку.

— *Ты говоришь о стабильности, а в результате весь 2006 год воспринимается как серая, совершенно однородная масса...*

— У меня не так. У меня год был очень активный и результативный. Я написал — и сразу издал — книжку рассказов. Выпустил новый альбом с группой «Бигуди» — называется «Секунда». Написал сценарий. Сделал ролики для СТС. Все вещи — в абсолютно новых для меня жанрах.

— *Начнем с роликов: ты намерен продолжать этот цикл?*

— Нет, зачем? Он был рассчитан на год. Тут меня привлекала задача: сделать мини-текст, и даже мини-моноспектакль, на вовсе уж крошечном пятчке: полторы минуты. Но у каждого ролика есть своя композиция и даже, надеюсь, смысл... Это очень трудно было. Еще и потому, что склеек никаких — все на крупном плане, одним куском. Я не читаю, а говорю этот текст в кадре. И люди смотрели. В особенности дети — потому что по времени это шло обычно перед детскими сериалами. Сначала, наверное, думали, что я сейчас порекомендую какие-то таблетки. Но потом поняли, что таблеток не будет. Реклама — да, но реклама жизни... ощущений каких-то радостных и точечных...

— *А как получился проект с «Бигудями»? Это ведь вообще, мне кажется, жанр без аналога.*

— Ну, в отдаленном родстве — проект Малькольма Макларена «Париж», тоже повествовательный. С музыкантами я познакомился сам, предложил поработать, — они оказались не против. Идея была — шагнуть в клуб. С театром я тогда внутренне боролся. Мне хотелось говорить с другой аудиторией. В клуб ходят, что называется, наши люди. Я и спектакли показывал в клубах, но все-таки читать монопьесу два часа — не совсем клубный формат. А тексты под музыку, которые мы делаем с «Бигуди»... В последнем альбоме появились даже текущие какие-то, внутренние рифмы. Но это ни в коем случае не рэп. Это именно песня, только в прозе. Даже структурно, композиционно... Сначала я перед концертами долго извинялся перед людьми. Говорил: извините, петь не буду, жанр другой... А сейчас у нас 5-6 концертов в месяц. Эта форма прижилась, на нее ходят. Стало быть, новая

территория освоена. Ее плюс еще и в том, что на ней не надо добиваться драматического напряжения.

— *Но многие — в том числе и я — пишут, что таким образом ты разрушаешь театр. Переносишь его в клуб и лишаешь очарования.*

— Пусть пишут, эти люди, значит, не очень хорошо представляют себе театр как таковой. Как ни странно, именно от театральных людей я таких упреков не слышу. Они знают, что я — их человек, театрал до мозга костей, и умеют отделить меня от моего героя...

— *А у тебя не возникает проблем с таким разделением?*

— У меня — никогда. Я, ты знаешь, получил филологическое образование, начал в свое время писать диссертацию по Гумилеву, порядочно почитал Бахтина... Я умею разделять маску и автора. Очень многие зрители — особенно в провинции — не умеют. Им трудно понять, что Гришковец, который «съел собаку», и Гришковец, который это рассказывает, — разные люди. Но это как раз и хорошо — значит, убедительно играю.

Потом — что значит «разрушать театр»? Перенести в клуб не значит разрушить. Я не сыграл ни одного корпоративного спектакля.

— *А приглашали?*

— А то! Это не мое. И этого не будет.

— *Но чувство, что ты уже везде, что тебя раздражают, рвут на части, что ты сам себе не принадлежишь...*

— Иногда, в минуты крайней усталости и недовольства собой. Но это быстро проходит. И потом, я же в Калининграде — так что совсем на части меня не разорвешь.

— *Очень многие в свое время писали, что вот — пришло свободное поколение. Этих не согнешь, не схарчишь, не отнимешь частную собственность... И что же мы видим? Все они прекрасно отстраиваются! Все выполняют команды даже более ретиво, чем шестидесятники, которых вечно ругали за конформизм. Нагнуть сорокалетнего — не вопрос.*

— Это есть. И это объяснимо. Видишь ли, я думаю, что мы все-таки не сложились в поколение — нас слишком мало. Мы — из демографической ямы, дети детей войны. Мы застали советскую власть, прожили при ней около двадцати лет. Застали девяностые и прожили в них — но у нас была советская закваска, согласно которой деньги не главное...

— *А что главное?*

— Сказал бы, что идеи, но не скажу. В семидесятых и первой половине восьмидесятых главным ощущались связи. Человеческий капитал. Деньги в позднесоветские времена решали не все, я даже сказал бы — они мало значили; а вот общение, должности, умение завязывать контакты... Мы успели столкнуться с государством, с его всевластием, но не успели сильно обидеться. Поскольку государство было уже дряхлорубое. В силу демографической ямы малочисленность ощущается физически, так что к своим — околосорокалетним — мы довольно бережно относимся. Правда, минус у этой ямы все равно был — в частности, всех гребли в армию, в том числе студентов...

— *Я после третьего ушел.*

— А я после первого! И слава Богу, что не попал в те сибирские дивизии, которые посылали в Афганистан. Правда, попал на флот — на три года. Но далее: когда на нас рухнули девяностые, мы в извест-

ном смысле были к этому готовы, готовее, чем, допустим, поколение «Духlessa». «Духless» посвящен памяти поколения, родившегося в первой половине семидесятых. Оно быстро поверило, что деньги — это все. И, естественно, обманулось. А мы никогда в это не верили — и оказались правы, потому что это и в остальном мире не все, а уж в России...

Главная черта сорокалетних и близких к тому — это универсальность. И уговариваемость, о которой ты спрашиваешь: кому-то кажется — конформизм, кому-то — широта. В этом какая-то особенность и новизна. Я, например, интересен всем поколениям, а не только своему. Остро-поколенческих черт у меня нет, и у тебя, кстати...

— *Правда.*

— Мы находим общий язык с шестидесятниками, семидесятниками, девяностниками, потому что видели два мира и в обоих успели пожить. И понимаем, что разница между ними не принципиальная, что и при советской власти, и при капитализме можно быть человеком, что не от государственного строя все это зависит, что вся политика довольно относительно, а человеческое безотносительно... Маленькое поколение, но хорошее.

— *Ты прославился чуткостью к эпохе, к приметам нашего общего детства, например. Что останется от двухтысячных годов?*

— Ну как же ты хочешь, чтобы я это угадал, когда все так быстро меняется?! Что осталось от восьмидесятых-девяностых? Сейчас уже вспомнить трудно эти первые кооперативные магазины, где была пицца размером с ватрушку; цветные ночные киоски со спиртом «Роял»; баночку из-под пива на сто-

лике в кафе в качестве пепельницы... Свой первый мобильный телефон я купил в двухтысячном году, у меня в «Городе» отец героя никак не может привыкнуть к мобиле, не понимает, как можно позвонить из любой точки города... А сейчас непонятно, куда этот телефон засунуть, чтобы он не звонил и не дергал тебя ежеминутно. Люди — в особенности наши — привыкают ко всему мгновенно, вчерашняя примета времени — сегодня уже быт, вот были сенсацией высокие цены на недвижимость — а сегодня не верится, что их не было... Я в девяносто первом году впервые поехал за границу, в Бельгию. И поразился: они в ресторане заказывают воду! Простую воду, хотя можно пиво! И в Кемерове рассказывал, и мне не верили: можно ведь из-под крана налить! Там что, плохая вода из-под крана? Нет, говорю, лучше, чем здесь... И тем не менее, вот они заказывают бутылку. Что ты думаешь? — через каких-то десять лет кемеровские пенсионеры тоже покупают воду в бутылках и варят на ней суп. Она лучше, чем из-под крана. И невероятным кажется, что когда-то бутылка «Эвиан» на чужом столе меня удивляла.

— У тебя в «Планке» есть рассказ, как боцман заставляет тебя и твоего приятеля-грузина тащить на корабль за пять километров тяжелейший трансформатор из поселка...

— За пять? За девять!

— Ну, за девять... А когда он не подходит, боцман говорит, что завтра вам тащить его назад. И тогда грузин с воплем выбрасывает его за борт, а боцман — вместо ожидаемого разноса — спокойно говорит: «Да и х.. с ним».

— Так и было. Абсолютно точный рассказ.

— *Вот эта русская способность в критический момент сказать «Да и х.. с ним!» — это залог всех наших побед или причина всех поражений?*

— Безусловный залог побед. Более того: это было первое в моей жизни столкновение с высшей житейской мудростью. В России очень хорошо умеют вовремя сказать: «Х.. с ним!» — и спокойно пойти по жизни дальше, не отвлекаясь на бессмысленную рефлексию — а с ним ли, собственно, х..? Надо уметь порвать, выбросить, отделиться, перестать тратить душевные силы. Это наше стратегическое оружие.

— *Когда ты вел недавний вечер мужского журнала «GQ» — на пару с Цекало, — ты вдруг перестал шутить, взялся за голову и сказал: «Господи, мне сорок лет!» Часто у тебя бывает такое?*

— В смысле конференса — нет, нечасто. Я решил, что это будет первый и последний опыт, хотя предложения нам с Цекало посыпались сразу. Я дико волновался перед этим. И обрадовался: перед спектаклем волнения почти нет. Значит, я могу еще что-то новое, раз так волнуюсь! А что касается «Мне сорок лет» — да, периодически я беру в руки свою небольшую, пятьдесят седьмого размера, голову и говорю: вот моя голова, она такая маленькая, а сколько же в ней говна!

— *Кризис среднего возраста, выходит, не миф?*

— Не миф, но он был раньше. В момент «Города», переезда...

— *В «Городе» герой даже семью еле сохранил — а ты?*

— Семью я сохранил, но общение полностью поменялось. Весь круг другой.

— *А вкусы? Типа эстетические пристрастия?*

— Они довольно постоянны как раз. В театре, если в Москве, — это Петр Фоменко. Еще — театр «Тень». Вырыпаев: хотя и дикий человек, но чрезвычайно талантливый. Я, правда, еще не видел «Июля», и есть опасение, что религиозный пафос может ему повредить. Но речевая стихия у него бушует как мало у кого. Что до остальных пристрастий — я ощутил себя реалистом и даже соцреалистом. Я собираю сейчас, например, картинки с индустриальными пейзажами. Со времен освоения целины и до начала восьмидесятых. Там есть цельность, люди работали на совесть, — собираю даже не по ностальгическим соображениям (целины я, например, не застал), но именно как примеры честной работы. По ним легко представить время. Я думаю, это признак хорошего качества в искусстве.

— *Ну ладно, в конце новогодних интервью принято спрашивать про будущее...*

— Ну я же не астролог!

— *А в общих чертах?*

— В общих — даже моя немогущая интуиция подсказывает, что каких-то великих потрясений теперь не будет долго. Будет так называемая стабильность или по крайней мере ее прочная видимость. С тем же буйством и кипением внутри, под коркой. Но надо учиться жить и работать без скидок на великие катаклизмы, которыми мы уже привыкли оправдываться. Просто жить по-человечески, каждый день. Это и есть самое трудное.

Алла Демидова

Разговор вскоре после того, как Демидова, долго не появлявшаяся на публике, возобновила вечера, на которых читала поэзию XX века — чаще всего Блока, Цветаеву, Самойлова. После было еще несколько бесед, но в них она уже не играла. А в этой — первой — отчетливей всего виден образ, который она лепит, сочетая дружелюбие и королевственность.

— Алла Сергеевна, вас удивил переполненный зал на вашем выступлении?

— Удивил очень. Этот день был ужасный, с утра — уже вечер, что-то текло с неба, энергетические какие-то бури, я не знаю что... Я просто себя реанимировала. Я бы сама в жизни не пошла на такой вечер в такую погоду — к ближайшему другу! Потом Василий Катанян сказал мне: Алла, мы уже сняли трубку — звонить тебе и извиняться, что мы не придем. Я рассчитывала на десять-пятнадцать человек и взяла с собой папку, заготовленную на следующий день: мне предстояло назавтра записывать на телевидении Агнивцева, Сашу Черного и Северянина в цикле «Забытые поэты». Я энергетически их не проверила, мне хотелось узнать, как они будут звучать... Чисто рефлекторно я захватила с собой и вторую папку — с Пуш-

киным, Цветаевой, Бродским, — вышла на сцену, увидела зал и испытала шок.

Причиной такого стечения людей может быть... я не знаю... тоска по высокому и вечному (*смешок*). Я в принципе ничего не имею против попсы, я сама ее часто слушаю, и очень хорошо идет, в особенности ночью. Но когда предельно идиотскую фразу вдальбливают в тебя сотню раз — сколько можно? И потом, одно дело — читать стихи глазами, а другое дело — восприятие на слух. Какие-то другие вещи. Тот же Катанян сказал: что это все в один голос — культура умирает? Никак умереть не может! Я думаю, мы скоро будем свидетелями возврата... к некоторой норме.

— *Вы за два года ни разу не играли в Москве?*

— Только один раз, и очень неудачно, сыграла Медею в рамках чеховского фестиваля, в плохом зале и на плохую аудиторию. У меня есть свой театр. Правда, полумифический. Он называется «Театр А». Это единственный частный театр в России: без помещения, без продюсеров и без поддержки. Раньше, играя на сцене Таганки, мы отдавали театру 20 процентов. Сегодня театру этих двадцати процентов мало, а нам мало остальных восьмидесяти, чтобы заплатить осветителям и бутафорам. Можно бы, конечно, пойти по спонсорам. Они дали бы денег под мое имя. Но ведь их надо потом... как это... бла-го-да-рить! Общаться ведь с ними надо! А я не мазохистка. Нет, не мазохистка.

— *А говорят...*

— Нет, я вообще работать не люблю. Точнее, начинать работу. Потом, начавши, я уже не отступаю в силу какого-то... внутреннего долга, что ли. Внутреннего урока.

Так что я играю и выступаю только там, куда меня зовут. Еще и платят мне за это. Вот сейчас мы на месяц едем играть в Афины. Весь месяц, как на галерах, обе наши постановки — «Медею» и «Квартет».

— *Я слышал, в «Театре А» намечается премьера...*

— Намечается. «Феникс» Марины Цветаевой, из цикла о Казанове. Но об этом пока рано говорить. Я уже вам сказала, что не люблю приступать к новой работе.

— *Но вы с таким наслаждением делали «Федру» с Виктюком...*

— Это не было наслаждением, это была принципиально новая задача. Очень интересная. Перевод слова в пластику. Все хорошее, что умеет сегодня Виктюк, он нашел на этой постановке. Больше я с ним не работала. Нам тогда помогали самые разные люди — именно потому, что задача стояла беспрецедентная. Приходил уже больной Марис Лиепа, с жилами на шее, как трубы, — приходил и вносил пластическую мощь скупых движений и тренированного тела. Приезжал знаменитый Алонсо, когда-то поставивший Плисецкой «Кармен-сюиту», услышавший о нас случайно, да так и застрявший на репетиции. Его здравый смысл помог нам избавиться от завихрений и начать работать не для зрителя, а для себя. Что вообще-то не в традициях русского театра.

— *Мне кажется, в «Федре» у вас был явный перебор с отсылками к личной цветаевской судьбе.*

— Однажды я была в гостях, где был также Кома Иванов*. И он подарил нам эту концепцию, вернее,

* Вячеслав Всеволодович Иванов, блестящий специалист по семиотике, почетный доктор чуть ли не всех университетов мира. — Д.Б.

подвел к ней, — что отношение Цветаевой к сыну (а он Цветаеву лично знал, видел) было отчасти схоже с отношением Федры к Ипполиту. Не в физиологическом смысле, о нет! — в смысле духовной власти над ним, в смысле жажды этой власти... Федра ведь с Ипполитом тоже, простите за мерзкое слово, не спала. И у нас эта параллель до того настойчиво проводилась в спектакле, что в сцене гибели Ипполита на охоте читалось за сценой последнее письмо Мура теткам с фронта. О том, что завтра бой и могут убить. И действительно убили через полтора месяца. Мы тогда думали, что именно это чувство к сыну стало причиной гибели Цветаевой, — хотя теперь я убеждена, что она покончила с собой из-за прихода НКВД.

— *Концепция-то, знаете, во вкусе Виктюка...*

— Что ж поделать, если потом он стал акцентировать только ЭТО. Но тогда, да и сейчас я думаю: хорошо, что этот камень был брошен в болото русского так называемого реалистического театра. Классическая, знаете ли, школа... заросший пруд... Лучше кинуть такой камень, чем никакого.

— *Что вас заставило остаться с Любимовым во время раскола и уйти от него после?*

— Справедливость. На стороне Любимова была правда. Хотите создать свой театр — создавайте на новом месте. Нам хотели оставить только старую сцену, на которой я играла «Бориса Годунова» и «Преступление и наказание» — старые, давно нелюбимые спектакли... А на новой у меня остались и «Три сестры», и «Пир во время чумы», и «Электра»... Где мне было играть? Когда я захотела сделать свой театр, я назвала его «А» и ни у кого

помещения не отсуживала. Сейчас Джигарханян сделал театр «Д» — и тоже ни у кого ничего не отбирал. Но такого непримиримого конфликта, чтобы я с кем-то здороваться перестала, у меня не было. На суде я даже возглавляла «любимовцев», но не поссорилась ни с кем из «губенковцев». Просто мне стало очень трудно приходить в театр. Физически трудно. Я год не играла. Правда, и денег не получала. Сидела в своих потемках, как страус. Я не могла выходить на сцену. И когда меня вызвали и предложили либо вернуться к работе, либо подать заявление об уходе, — о, с каким облегчением я его написала! И больше ни разу там не была.

— *А с Любимовым не общаетесь?*

— Нет повода.

— *Скажите, вас не утомил тот надрывно-истерический тон, в котором о вас пишут — главным образом девочки? Та захлебывающаяся интонация, с которой они вас расспрашивают?*

— Очень утомила. Очень. Перед вами были две девочки, как раз такие... Исключение составляет Алла Шендерова, она умненькая. При виде вас я несколько успокоилась, поняв, что преклонения не будет.

— *Боюсь, вы сами отчасти провоцируете такое отношение, наигрывая некий образ... надмирный, надменный, трагический...*

— Нет. Я сейчас скажу обидную для вас вещь. Я не люблю выходить на улицу, обычно езжу на машине, просто чтобы не видеть всего этого... бездомных людей, бездомных собак, бездомных кошек... Но нищему я подам, собаку накормлю, кошку возьму в дом. Это у меня от бабушки-старообрядки. Она

мне это внушила: когда мы в эвакуации пили кипяток с очистками сахарной свеклы, она все равно выходила на улицу и, видя ковыляющего мимо солдатика с ножками-спичками, протягивала три рубля и говорила тихо, про себя: «Прими, Христа ради». Он удивлялся, но брал. И это во мне заложено: я не отказываюсь от интервью. Потому что это ваш хлеб. Это вам нужно — не мне. Но я вам отказывать не вправе.

— *Рад этой честной параллели и благодарно принимаю три рубля.*

— Интервью в основном идут помимо моей воли и против моей души. Я предстаю в них такой... такой интеллектуальной дурой.

— *Вы представляетесь мне женщиной очень прагматичной и жесткой. Это так?*

— Жесткой — в том, что касается моих внутренних убеждений. Но в человеческих отношениях и работе — я очень гибкий, даже послушный человек. Люди, знавшие меня и писавшие обо мне, поражались моему терпению на репетициях «Электры». Я все терплю. А прагматичность... нет, это другое. Просто я слишком фатально отношусь к миру. Это, может быть, тоже от бабушки-старообрядки... хотя вряд ли. Я прислушиваюсь к тому, что мне подсказывают. Но сама я ничего не делаю. Это я вам сейчас искренне, как на духу говорю.

— *Есть мнение, что у настоящего актера нет своего лица (как, впрочем, и своего характера). Что он должен уметь меняться и играть все — как Смоктуновский. Вы согласны?*

— Согласна. Смоктуновский для меня вообще первый актер. Я на всех углах пою ему: аллилуйя!

Мы столкнулись единственный раз — в «Детях солнца». И страшно ругались, потому что он умел играть быт, а я — не умею и не люблю. Но он действительно мог все. И в этом смысле лицо у него чисто физически менялось неузнаваемо. Я надеюсь — надеюсь! — что это можно сказать и обо мне.

— *А как бы вы свое истинное лицо определили?*

— Я упустила свой шанс в кинематографе. В начале семидесятых годов у меня не было своего режиссера. У меня тот тип, редкий, не использованный до конца, который мы в нашей компании — Авербах, Рязанцева, Валущкий — называли «умняги». Вот это я.

— *Вроде того, что делала в свое время Купченко?*

— Нет. Купченко лиричнее. Тогда был и сценарий, который собирался ставить Авербах, его написали Наташа Рязанцева, жена его, с моим мужем Владимиром Валущким. Он так и назывался — «Умная женщина». История жизни женщины-телекомментатора, — меня как раз и привлекало, и смущало то, что женщин-телекомментаторов тогда почти не было. Это был тогдашний тип интеллектуалки, он и сейчас есть: очень одинокие женщины, потому что они знают, как жить, и у них есть ответы на все вопросы.

— *Это то, что Валущкий потом пытался сделать в «Зимней вишне»...*

— А он и писал «Зимнюю вишню» для Авербаха.

— *А с Рязанцевой — гениальным, по-моему, сценаристом — вам так и не выпало поработать?*

— Единственный раз. Мне предстояло играть старушку в «Аленьком цветочке», который написала Наташа. Довольно дурацкая история. Я настояла

на том, что не умею играть старушек, и мы как-то вместе переписали ее на фею.

— *Как умняга, вы хоть раз использовали в жизни свои актерские дарования?*

— Я играю все время. И признаюсь в этом без всякого стеснения. Я не люблю говорить, мне это не нужно, мне всегда приходится притворяться, что я этого хочу... Вот я говорю с вами, а в соседней комнате меня ждет моя подруга, киновед Нея Зоркая, вы уйдете, а мы с ней выпьем коньячку и поговорим о грибах, которые растут на нашей любимой Икше. И нам будет хорошо. А лучше всего мне здесь, на диване, когда я лежу под пледом и под котом, с двумя собаками в ногах, можно — с книгой, можно — с пультом телевизора.

— *Но потерпите меня еще немного!*

— Ради Бога, продолжайте. Но отдавайте себе отчет в том, что я и сейчас играю.

— *Ваша кинослава началась с «Дневных звезд» Таланкина?*

— Не люблю эту картину, уже в материале не любила, а когда ее изрезали — разлюбила совсем. Видите ли, судьба фильма — вопрос упрямства. Вот у Тарковского лежит на полке «Андрей Рублев», а у Таланкина — «Дневные звезды». Тарковскому говорят: вырежьте эту сцену, и картина поедет в Канны. Он не режет. То же говорят Таланкину. Он режет и пьет. Так продолжается несколько лет. И «Андрей Рублев» едет в Канны, а Таланкин выпускает изуродованное кино.

— *Спрошу вас опять-таки как умнягу: отношения с мужчинами у вас сильно осложнялись за счет этого*

женского всезнания, почти животного? Или вы, как Цветаева, способны были увлечься полным ничтожеством?

— Смоктуновский говорил: «Мы же человеко-ве-е-еды»... Я — не человековед, я интуит. Люди для меня прозрачны только в силу актерской моей профессии: интонация, реакция — и все, насквозь. И прошлое, и будущее. Что же касается отношений с мужчинами — да, я их всегда выдумываю. А потом ужасаюсь: «Господи, какая гадость!»

— *А свое будущее вы знаете?*

— Не знаю, как вам ответить. Иногда знаю, иногда нет.

— *Почему вы в «Театре А» работали в «Квартете» с Певцовым?*

— Предполагался другой актер, которого я вам не назову. Я попыталась ему однажды — как у нас это принято было на Таганке — дать некоторый совет. Он так меня отчитал, что я заплакала. Да, представьте себе, заплакала, я это умею. А Певцов умеет слушать подсказку. Это редко в актерской среде, почти уникально. Вот я посмотрела его в «Чайке» — и подсказала, что, на мой взгляд, Треплев просто занимается не своим делом. Он философ, он о мировой душе думает, но поскольку его мать актриса, то он и пишет для театра, совершенно не будучи к этому приспособлен. Человек не в своей тарелке, поэтому он и вырастает из своего детского пиджачка... Я ему посоветовала еще подчеркнуть эти руки, торчащие из рукавов. И увидела, что он послушался. Эта гибкость, это умение принять чужой совет меня привлекают в нем.

— *Вы когда-нибудь признавались в любви?*

— Нет. Я вообще не очень верю в слова. Когда в молодости мы с мужем выясняли отношения — то есть полагали, что отношения можно выяснить, — мы заметили: он обращает внимание на слова, а я — на интонацию.

— *Почему вы никогда не пробовали себя в режиссуре?*

— И не попробую. Это организаторская работа, добровольная каторга.

— *В вашем моноспектакле по стихам Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Бродского — довольно странный, я бы сказал, мужской выбор текстов. Чем он диктуется?*

— Нежеланием давать попутные объяснения. Мне сейчас нужны стихи, которые бы все говорили о судьбе поэта. Я не хочу объяснять, как погиб Мандельштам и что он для меня: я хочу прочесть «Улицу Мандельштама» — и все будет ясно. Кроме того, я читаю стихи, стараясь выявлять мелодию, не сидеть на смысле.

— *Голос вы как-то тренируете?*

— Нет, у меня от природы достаточно приличный диапазон, потом он разработался, и главное теперь — не повредить себе. Только единожды, когда мы весь месяц в Греции играли «Электру», а за гастроли платили греки и отказаться играть ежедневно было нельзя, у меня после шести представлений сдал голос. Я сумела его восстановить.

— *А зал без микрофона вы легко берете?*

— О да! Я помню, в Афинах мы читали стихи под Акрополем, на огромной площадке — по актеру

или актрисе от страны, каждый читает несколько стихотворений своих любимых национальных поэтов на языке оригинала. И у каждого в кармане микрофончик. И вот эти микрофончики у всех отказывают — голос то слышен, то не слышен, в общем, читать невозможно... А поскольку мне однажды сказали, что в Древней Греции я была актером-мужчиной, я взмолилась этим камням, этим богам: боги, боги мои, если я здесь была когда-нибудь — пусть у меня не включится микрофон! Вообще! И он ни разу — я читала шесть стихотворений! — не включился. Я все читала живым голосом.

— *А вы верите в переселение душ?*

— Не знаю. Не верить нельзя — ибо иначе что же все это такое? Верить нельзя — никто не доказал.

— *Из чего вы исходите, знакомясь с человеком, — на что смотрите, что замечаете в первую очередь?*

— Прежде всего — энергетику. Потом — интеллект. Дальше идут десятые и двадцатые вещи.

— *Вроде держания вилки в той или иной руке?*

— Это тысяча первая.

— *Бывало так, что чьи-то стихи вас в самом деле вытаскивали из отчаяния?*

— В отчаянии не до стихов, набираешься терпения и понимаешь: надо перетерпеть, и это пройдет. Другое дело, что иногда что-то ложится на душу и становится необходимо, не можешь оторваться. Так я все лето однажды читала Бродского.

— *Какое впечатление он произвел на вас при знакомстве?*

— Забавное. Он позвал меня в Америку на столетие Ахматовой. Я долго думала, что ему подарить на

память, потом вспомнила, что он в Амхерсте преподает поэтику, и купила ему теорию стихосложения конца прошлого века. Он сильно опоздал на вечер, который сам должен был вести, крайне сухо поздоровался с Найманом, что меня тоже разозлило, и как-то очень небрежно бросил куда-то за спину мои книги. Как вчерашнюю газету. Вечер прошел хорошо, после было традиционное party, и я сказала ему, как мне нравятся его стихи. Он тут же закрылся, как и я после спектакля: я сразу поняла, что он так же ненавидит эти комплименты, и почувствовала в нем родственную душу. Это не помешало мне озлиться и сказать: «Вы должны отличать мои слова от комплиментов этих крашенных дур, которые тут рассыпаются бисером. Я просто хотела вам сказать, что мне нравятся ваши стихи. До свидания». Мне вслед, в Москву, он прислал свою книгу с надписью: «Алле Демидовой от Иосифа Demi-dieu». То есть Иосифа-полубога, если вы знаете французский. В этом он весь.

— *Это высокомерие естественное, о вашем высокомерии тоже ходят легенды...*

— Я думаю, он тоже был человек одинокий и лучше всего чувствовал себя наедине с собой.

— *Вы умеете контролировать собственную психику? То есть если вам завтра надо идти к зубному, вы можете заставить себя не думать об этом или все время будете циклиться на предстоящей неприятности?*

— Насчет зубного, пожалуй, переживать особенно не буду, а вот перед выходом на сцену я раньше доходила до тахикардии. Мне казалось, что я когда-нибудь потеряю сознание на выходе из закули-

ся. Потом научилась держать себя в руках, но до сих пор не терплю, когда со мной заговаривают перед выходом на сцену. Это не «настройка», не самоуглубленная подготовка, как любят говорить упомянутые вами придыхатели, — но черта моей натуры.

— *Вас чему-нибудь полезному научили в Щукинском?*

— Я училась у Арочко и благодаря ей поняла главное: научить нельзя, научиться можно.

— *Вы с Высоцким многие годы играли в «Гамлете». Вам нравилось, как он это делал?*

— Он играл очень неровно. Поначалу это часто был Гамлет-шпана, Гамлет, чрезвычайно далекий от пастернаковского, высокомерный, пренебрежительный, упивающийся властью над залом, которую он почувствовал... Потом он стал лучше. А потом выкладывался до кровавой рвоты, перевоплощаясь полностью, проживая роль.

— *А вы — не выкладываетесь?*

— Нет, вот здесь я пользуюсь приемами. До такой степени тратить себя нельзя. Никакого «петушиного слова» нет, но есть несколько нехитрых технических вещей, которые мне помогают.

— *То есть вы во время спектакля или чтения отслеживаете себя со стороны?*

— Ну конечно! Я смотрю на кого-то в зале, ориентируюсь на него... А вообще здесь парадокс: чем глубже ты в роли, чем естественнее — тем проще тебе смотреть при этом на зал, на сцену... Это бездари ни о чем не думают, играя. У нас была такая в труппе — на три метра было не подойти: не видит

партнера! В роли! Самоуглублена! Так что может наступить.

— *Вы как будто не подходили под типаж советской красавицы, так что в Щукинское, я думаю, поступили чудом...*

— Красота у малоодаренных актрис очень быстро проходит. А Гарбо была хороша до конца дней своих. Есть какая-то эманация таланта, которая делает человека лучше. Актер и бывает красив только за счет таланта. И, как правило, расцветает после сорока. Поздний Высоцкий красивее раннего. И старость талантливого человека тоже никогда не безобразна.

— *Вы любите бывать за границей?*

— Все сочтут это кокетством, — но нет. Я устаю от чужого языка. Другое дело, что в Париже на бульваре Сен-Мишель вас в любой давке никто не заденет, а на моей Тверской даже ночью, когда она пустеет, каждый третий или четвертый непременно толкнет. За границей есть какой-то внутренний талант жизни.

— *Быт, готовка, поход в магазин не являются для вас катастрофой?*

— Катастрофой для меня не является ничто, но ходить в магазины я не люблю. Мне дали телефон, по которому я заказываю продукты, и их приносят на дом. Готовить приходит женщина, получающая за это больше, чем я когда-то в театре.

— *И у вас хватает средств?*

— На это — хватает. Но я и сама могу приготовить что угодно, если нужно. Я актриса, русская актриса, а потому умею любую ручную работу:

водить машину, забивать гвозди... Однажды мы с подругой, едучи в ее машине, увязли в гигантской луже, машина заглохла, и я, ничего не понимая в автомобильных кишках, вылезла и открыла капот. И увидела: что-то внутри порвалось, какая-то труба, — мы связали наши носовые платки и перевязали эту трубу. И машина поехала. Так эта моя подруга ездила месяц — с перевязанной платками трубой. Мастер, увидев это, ужаснулся и восхитился.

— *Что вы сейчас читаете?*

— Как всегда — много всего сразу.

— *Вы умеете влиять на людей? В смысле — манипулировать ими?*

— Да, конечно. Но никогда этого не делаю. Это нехорошо.

2000

Марк Захаров

Захаров — кажется, единственный руководитель театра в современной Москве, продолжающий активно ставить в ущерб всякой прочей деятельности: хозяйственной, мемуаристской и политической. Плотность его разговора почти сверхъестественна: у него было сорок минут, и вот чего мы наговорили.

— То, что вы все чаще зовете в Ленком людей со стороны, преимущественно молодых, — это поиск смены, что ли? Иногда кажется, что вы хотите «лиру передать»...

— Я никогда не возражал против того, чтобы ленкомовцы снимались в кино. Это придавало им популярности, привлекало в театр новую публику — а главное, они возвращались обогащенными. Пообщались с другим режиссером, с новыми артистами — и это был рост. Так вот, новые люди должны приходить в театр. Иначе он вырождается. Недавно Инна Соловьева справедливо написала, что Ленком никогда не был театром одной звезды — это так, центр тяжести гибко переносится, я всегда делаю ставку не на звезду, а на среду. Творческую среду, в которой могут формироваться мощные индивидуальности. Эту среду нельзя замыкать. Пришел Александр Морфов — молодой

болгарский режиссер, он будет делать в этом сезоне «Визит старой дамы» Дюренматта, а до этого сделал «Пролетая над гнездом кукушки». Я так любил формановский вариант этой истории, что в возможность ее адекватной театральной постановки не верил, но Морфов меня переубедил — он привлек первоисточник и отошел от фильма. Шанина в роли старшей сестры там творит чудеса. Мирзоев поставил «Тартюфа», Жолдак будет делать «Русскую красавицу» — я за свежую кровь; пусть мы ошибемся, но не закиснем. Хотя у меня есть твердое понимание того невеселого факта, что вечных театров не бывает. Того Ленкома, который возник в семидесятые и который ассоциируется с нынешними звездами первого ряда, больше не будет. Болезни Караченцева и Абдулова подкосили театр. С тех пор как ушел Евгений Павлович Леонов, труппа не переживала таких ударов. Есть блестящие молодые артисты — второе, третье поколение: Миронова, Фролов, Большова. Есть, как мне кажется, лицо театра — психологическая правда, помноженная на зрелищную заразительность. Но Ленком не прежний. Что, может быть, и к лучшему: постоянство бывает только в смерти.

— *Вопросов о состоянии Абдулова и Караченцева не избежать. Караченцев, писали, был на сборе труппы, но я не всегда понимаю желание его жены, Людмилы Поргиной, обязательно вытащить его на люди... Это уже поссорило ее с врачами, кажется.*

— Я не хочу это обсуждать. Мне кажется, Людмила Поргина старается придать этой истории оттенок театральности, публичности, словно намереваясь недоигранное, — и не могу этого одобрить, но это

только ее жизнь и ее выбор. С врачами там действительно отношения такие, что все встречи уже происходят под магнитофон — полное взаимное недоверие. Я несколько раз бывал у Караченцева, общался с ним — он может говорить короткими фразами. Какие-то скрытые резервы мозга включились, — мы ведь о мозге ничего не знаем, он умеет сам себя перенастраивать, — и он безусловно все понимает. О возвращении его на сцену думать нельзя — он потерял сознание даже на теннисном корте и вряд ли выдержит актерские нагрузки, и голос пока не восстановился, — но его здравый рассудок сомнений не вызывает. Другое дело, что личность не может сохраниться в неизменности после такой травмы — деформации неизбежны. Что касается Абдулова, в его возвращение на сцену я верю, и все разговоры о том, что от рака четвертой стадии может спасти только чудо, меня не пугают: чудо сопровождает Абдулова всю жизнь, он бывал и не в таких переделках и всегда выходил победителем. Что болель — он обманывал КГБ!

— *Это как?*

— Ко мне в семьдесят шестом в театр явились люди оттуда и сообщили, что у Абдулова связь с иностранной шпионкой, которую они сейчас высылают. Тем самым ему закрываются любые выезды за рубеж. Так-так, говорю я, но ко мне-то что вас заставило обратиться? Что я могу сделать с Абдуловым? А пусть, сказали они, на него повлияет комсомольская организация театра. Чтобы не вступал больше в связи со шпионками. Вот тут я впервые, пусть в легкой дымке, разглядел крах системы: если у грозы всей страны, Комитета, не

нашлось других проблем, кроме эротических похождений Абдулова, и других инструментов, кроме комсомольской организации, — дело швах. Что и произошло. А за границу он выехал очень скоро — и никто не остановил. Да что КГБ — он меня обманывал; я сам по образованию актер и хорошо знаю артистов, но купился. Абдулов по молодости лет — уже после потрясающего студенческого дебюта в спектакле «В списках не значился» — часто опаздывал на репетиции, причем опаздывал так, что стадия гнева у меня успевала пройти и наступала стадия тревоги; я был счастлив, что он вообще появился. «Саша, что это такое?!» — «Марк Анатольевич, — отвечал он, выдавливая из глаза скупую мужскую слезу, — я два часа сидел у постели тяжело больной девушки!» Он произносил это так, что я сам готов был разрыдаться, и покупался еще дважды, пока не сообразил, что про постель, может, и правда, а про остальное...

— *Абдулов будет на юбилее театра?*

— Кочкарева вместо него сыграет Чонишвили, и я опять убедился, при всем уважении к Сергею, что Абдулова все-таки не заменишь. Незаменимые есть. Мы уже показывали «Женитьбу» в конце прошлого сезона в Самаре — три спектакля. Я всегда завидовал Бродвею, имеющему возможность перед главной премьерой мюзикла обкатать его в американской глубинке, и решил показать спектакль в провинции, где успех был шквальный. Не знаю, успеют ли подготовить Абдулова к переезду в Москву именно 20 сентября, но он действительно возвращается и будет лечиться здесь.

— *Почему «Женитьба»?*

— Скажу вам честно, у меня давно не было желания поставить что-то новое. А когда настойчивого желания нет, незачем и браться. Почему Гоголь? Потому что до Достоевского, до Салтыкова-Щедрина он залез в нашу русскую черепную коробку и что-то важнейшее про нас понял и попытался перенастроить, и не смог. Думаю, в «Женитьбе» особенно наглядна одна главная черта славянского характера — твердое понимание, что надо немедленно что-то менять — «Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится!» В этом вопле Подколесина, в самом начале, главная предпосылка всего действия: женитьба ведь у Гоголя не сексуальное, вообще не любовное событие. Это попытка переустройства жизни, и русский человек иногда вдруг страстно хочет все переустроить в своей судьбе: проводит реформу судебную, земскую, административную, отнимает льготы, упраздняет министерства... а потом, в решительный момент, вся эта импульсивность уходит в песок, в никуда, и все возвращается на круги. Жених выпрыгнул в окно, и мое почтение. Это хорошо заметно на поляках — тоже славяне, но страна меньше: у нас все как-то медлительнее происходит, растворяется, а там все эти метания на глазах. Дружат с нами, враждуют с нами, затевают реформы, отказываются от них — много импульсивности, задиристости, вздорной и лихорадочной активности, чередования самоупоения с саморуганием... Вот про что «Женитьба», и я ставлю про то, как жених снова шмыгнул в окно.

— *Вы согласны с мнением той же Инны Соловьевой, что в Ленкоме не осталось общественного пафоса —*

он постепенно вытеснился тотальной иронией, а потом и просто молчанием по этому поводу?

— Скажу вам больше, я был настолько наивен, что искренне пытался — вместе с Шатровым — противопоставлять плохому Сталину хорошего Ленина. Вообще идеология ушла, это точно. Оказалось, что дело не в ней. Я периодически езжу в Германию и вижу, что восточные немцы по-прежнему отличаются от западных — во втором, в третьем поколении... Я думал, что состарятся те, кто помнит коммунистов, что вырастет новая генерация, — ничего подобного, все воспроизвелось; кто живет в Дрездене — не умеет и не хочет работать, как в Баварии. Правда, и корысти у них меньше, и расчета. Дело в том, что в Восточной Германии идеология не насаждалась, а вбивалась, она успела въестся в кровь — никто же не думал, что вследствие идейной обработки человек может меняться биологически. Но — может: человек вообще такое существо, что его биология управляется идеологией, головой. Так что задачу свою я вижу не в борьбе с идеологиями, а в раззомбировании. Мы зомбированы до сих пор — за семьдесят лет, ничего не поделаешь, вырос другой человек. А раззомбирование — оно сложнее, чем разрешение или запрещение чего-то. Нужно зрелище, нужен шок, нужна апелляция к сильным эмоциям — театру есть что делать, а учить и проповедовать он больше не должен, по-моему.

— В Ленком любит ходить властная элита, вы с ней часто общаетесь — как она эволюционирует?

— Это вы никогда не были властной элитой. Не то знали бы, что у них там, в верхах, есть примета:

сходил в Ленком — сняли. Юрий Любимов, чей девяностолетний юбилей театральная Москва будет справлять в этом сезоне, придумал термин «портрет». Это если человек из верхушки пришел. У нас закономерность четкая: «портрет» явился — и перестал быть портретом. Началось с Язова. Пришел. Я показываю ему фотографию: основатель театра Берсенев с молодым Константином Симоновым, спрашиваю: узнали? Он говорит: да, справа вы... Через неделю ГКЧП, и сняли. С тех пор пошло.

— *А Путин у вас не бывал?*

— Путин не бывал. Супруга заходила несколько раз... А совсем недавно были Иванов и Медведев. Я в этом кабинете их принимал и сказал любимую фразу о том, что чувствую себя, как Станиславский: он одинаково волновался во время визита в театр великого князя и первого секретаря ЦК. Я тоже одинаково волнуюсь — что тогда, что теперь. Они поулыбались. Я уж думал, традиция прервана: они посетили театр, и ничего. И вот вам, пожалуйста, Зубков — премьер...

— *Опасное место Ленком.*

— Не говорите. Медведев, кстати, интересные вещи рассказывал. О том, как летал недавно в Красноярский округ и не мог добраться по дороге: только вертолетом, асфальта нет. Выделил деньги на дорогу. Признался, что все разворовано. Это меня поразило: ведь вроде бы завелись деньги, ведь столько разговоров о порядке! Нет — воровство пуще прежнего, я услышал недавно, что и на Сочи не хватает двенадцати выделенных миллиардов. Создали комитет по надзору за расходованием. Дальше, видимо, создадут комитет по надзору за комитетом.

— *Но ведь в театре не воруют! Ни у вас, ни у других — в чем дело?*

— Ну, вероятно, в том, что в театре люди объединены талантом и общими ценностями, а в правительстве — нет, а в России — тем более... Потом еще вот какое отличие: я на ошибке гениального Эфроса убедился в том, что театр нельзя строить в расчете на одну звезду, будь это даже такая звезда, как покинувшие его Ширвиндт или Гафт, как оставшаяся с ним Яковлева... Театр — не пирамида, это дело такое многоцентричное. А Россия все как-то выстраивается в пирамиду с одной звездой, а в пирамидах могут работать либо за страх, либо за деньги. За идею — нет.

— *Но опыт общения с Путиным у вас есть?*

— Есть, он интересно общается. Умеет, что называется, срезать. Все понимает, это шокирует в первый момент. Я подготовил целый доклад о возможной реформе театрального дела. Начинаю: «С точки зрения правового государства...». Он сразу: забудьте, мы живем не в правовом государстве. Я: но надо же как-то разобраться со спонсорами, написать закон о них... Он: с вашими спонсорами лучше не разбираться. Я думал сначала, это он мне одному так сказал, но потом выяснил — нет, многим.

— *Он что же, Таранцева имел в виду?*

— Возможно, и Таранцева.

— *Знаете, не в обиду будь сказано, но меня это тоже всегда шокировало. У него же на лице крупными буквами все написано...*

— Ну и что, а театру он помогал очень! Мы современное оборудование купили благодаря ему. Нам и Андрей Вавилов помогал — легендарный

персонаж, на которого уж такой был накат, что казалось — непременно посадят. А он прилетел из-за границы и всех раскидал, как щенков, и оказался ни в чем не виноват. Это единственный случай, когда в ответ на просьбу спонсора я принял в театр его протеже, Марьяну Царегородскую, портретами которой была увешана вся Москва.

— *Вы ее видели живьем?!*

— Даже репетировал с ней.

— *Там было из-за чего оклеивать всю Москву плакатами?*

— Ну, я не судья чужим вкусам! Работала она неплохо, у нее был эпизод в «Варваре и еретике». Потом я этот эпизод вырезал, а она, видимо, охладев к театральной карьере, улетела в Лондон заниматься балетом.

— *И Вавилов теперь помогает лондонскому балету?*

— Не знаю. Нам он помог с дорогими и трудными японскими гастролями, которых одна принимающая сторона не потянула бы. Спасибо.

— *Есть в современной театральной Москве восхищающие вас деятели и спектакли? Может, какие-то студии, экспериментальные коллективы, малые сцены?*

— В Москве — Фоменко, в Петербурге — Додин. Из спектаклей — на меня сильное впечатление произвел «Пластилин» по пьесе Сигарева в Центре Казанцева и Рощина. Это было новаторски и очень энергично. Что касается студий и малых сцен, я не поклонник камерных экспериментов — это просто не мое. На малом пространстве проще воздействовать на зрителя, начинаются уже не театральные, а гипнотические приемы. Я однажды в порядке

издевательства запустил слух, что планирую поставить спектакль в грузовом лифте, вот только не могу найти спонсора на достаточно вместительный лифт. Все купились, всерьез писали об этом, до сих пор спрашивают, что там с лифтом... А ведь эпилептик, бьющийся в припадке в тесном замкнутом пространстве вроде кабины того же лифта, подействует сильнее любой актерской игры. Я люблю большую сцену и большой зал.

— *Где тоже не обходится без гипноза.*

— Ну а как же! Высшее достижение — когда ты пятьсот разных людей, друг с другом даже не знакомых, на несколько минут — больше не бывает — превратил в единую биомассу, с общими чувствами, общим восторгом...

— *Я недавно переслушал «Звезду и смерть Хоакина Мурьеты» — и все-таки не понял, как это вам в 1976 году разрешили. Ведь это и сейчас звучит крамоллой: «В школе с детства нас учили — нет страны чудесней Чили, только жизни нет, только жизни нет»...*

— С «Мурьетой» более или менее понятно: Чили, Корвалан, Неруда, антиамериканский пафос, недавний пиночетовский переворот, как-то она прошла по разряду политического театра, хотя вся сцена отъезда — «Мы из ада отправились в рай, прощай!» — считывалась залом как явный намек на эмиграцию из СССР. А вот как «Юнона и Авось» два года спустя была принята на ура — это чистое чудо. Наверное, им просто понравился спектакль. Одна женщина из принимающей комиссии, совершенно партийная, так и сказала: «Особенно удался образ Богоматери». После чего Вознесенский ска-

зал, что просто так это случиться не могло, что это Божественное вмешательство и надо всем срочно ехать в Елоховский собор — ставить свечу к иконе Казанской Божией матери. Что и было исполнено. Этот спектакль не мог быть пропущен никогда и ни при каких обстоятельствах — чего стоит подъем Андреевского флага на сцене или ария Резанова «Мы дети полдорог, нам имя полдорожье». Но прошел практически без поправок. И это был последний спектакль в истории российского театра, способный собрать стадион. Мы не поставили с тех пор ни одного мюзикла — не потому, что не было идей. Они были, но всякий раз всплывала матрица «Юноны». А подражать себе я не хочу.

— *У вас с Гориным, Мироновым, Ширвиндтом была замечательная компания: сейчас в театральной среде есть что-то подобное? Есть такие московские интеллектуальные центры, от которых исходит заряд веселья и ума?*

— Они обязательно есть, только это дело возрастное. Компания — это для тридцатилетних, сорокалетних, потом каждый сам по себе. Пора привыкать, что единой среды больше нет, что интеллектуальная жизнь будет происходить, как в Америке, в небольших, но мощных академических или творческих центрах.

— *Возраст как-то меняет человека? Одни говорят, что сильно, другие — что ничуть...*

— Меняет очень. Уходит юношеский максимализм, но и талант убывает. После семидесяти меньше боишься чужого мнения, вообще становишься храбрее, но семьдесят — сильный психологический удар. Вероятно, самый сильный из всех возрастных.

Ничего не подделаешь, все лучшее придумывается в молодости. Достанься мне театр не в сорок лет, а позже, — Бог знает, что получилось бы. А ведь я сразу после назначения едва не слетел: первым спектаклем был «Автоград», все вроде сошло, а вторым — «Тиль», и на него пришла жена одного «портрета» с внуком. Ей показалось, что это детское. А там был фламандский юмор, и было принято решение меня переместить на Московский театр оперетты, куда я совершенно не собирался. Я стал ждать увольнения, честно предупредив, что со мной уйдет и часть труппы, которую я же и привел. Но они про меня там забыли, и «Тиль» продолжал идти, и я ставил новое... Это спасение наше — что они про нас забывают. Мы все думаем, что там, наверху, все четко и последовательно. А там, слава Богу, такое же раздолбайство, как везде.

— *Вы, как и Любимов, начинали как актер — нет желания к этому вернуться? Сыграл же он Сталина в солженицынском «Круге первом»...*

— Пришел однажды один драматург — известный, но не первого ряда, — и предложил пьесу о Пушкине. Ладно, я спрашиваю: кого вы видите в этой роли? «Вас, Марк Анатольевич!» — говорит он. Я представил, как приклеиваю бакенбарды, сколько радости доставлю артистам театра этим перевоплощением... всегда же приятен режиссер в идиотском положении... К счастью, жена в ранней молодости убедила меня, что актер я очень посредственный, а режиссер хороший. Актеру в студенческом театре платили тридцать рублей, а режиссеру побольше.

— *Дайте определение идеального актера.*

— Тот, кто, едва войдя и ничего не делая, привлекает зрительское внимание. Обладатель животного магнетизма — вроде Суханова, от которого не оторвешься. Мне однажды в Петербурге одна фирма предложила: у нас праздник, привезите к нам звезд: Караченцева, Абдулова, Чурикову... Я спрашиваю: что мы должны делать? А они: ничего, мы накроем стол, пусть они просто едят, а мы будем смотреть... В каком-то смысле это и есть идеальный театр. Они просто живут, а вы просто не можете отвести взгляд.

2007

Альфред Кох

Альфред Кох был вице-премьером в правительстве Черномырдина. Вместе с Чубайсом, Немцовым, Сысуевым и Уринсоном. Именно он отвечал за так называемые залоговые аукционы, когда госсобственность распродавалась стремительно, с целью погасить государственные задолженности, а олигархи насмерть дрались за наиболее лакомые куски. Кох отдавал собственность не тем, у кого в руках были самые громкие СМИ, а тем, кто больше платил. В результате на него вылили столько грязи, что не отмыться, казалось, до конца времен. Грянул «писательский скандал» — якобы Кох с Чубайсом получили непропорционально огромный аванс за книгу о приватизации бывшей империи. Примерно через год он дал в Штатах интервью, которое, будучи перепечатано в России, призвано было окончательно зарыть его репутацию. Там он говорил о безнадежности нашего положения и патологической неготовности народа к тому, что ему казалось нормальным развитием. Наконец, после скандала с НТВ, когда именно Кох помогал отбирать канал у Гусинского и отдавать его «Газпрому», его возненавидели не только консерваторы, но и либералы. Я вообще не понимаю, как может жить, работать и писать человек, вызывающий такую злобу. Наверное, он должен быть очень крепко уверен в правоте избранного пути.

— *Мне понравилась ваша лекция, опубликованная на «Полит.Ру»...*

— На ты, ладно?

— *Да, попробую. Твоя лекция. Там важная мысль — о том, что в России два народа, большой и малый, и никакого прогресса не происходит именно потому, что они не могут выработать общих ценностей.*

— Пока никак не получается. Полноценным и долгосрочным лидером станет тот, кто их примирит. Лично я ощущаю себя принадлежащим к малому народу. Водораздел обозначен четко: для большинства превыше всего государство, для меньшинства — личность. Все остальные деления — на патриотов и либералов, русских и инородцев — фальшивы. Первые призывают все время умирать во имя государства, потому что жить оно не дает. Оно исключает всякую возможность жизни, набрасывается на любого, кто нормально живет, нормально работает, нормально думает... Оно предписывает читать те, а не другие книги, носить те, а не другие штаны. Вторые призывают послать такое государство к чертовой матери.

— *Чтобы не стало уже вовсе ни книг, ни штанов.*

— Это демагогия так называемых государственников, уверяющих, что без их людоедского государства люди тотчас превратятся в стадо зверей и заживут по закону джунглей.

— *Ну, у нас был некоторый контрольный эксперимент...*

— У нас и сейчас идет контрольный эксперимент: например, как класс отсутствует милиция. Она в основном получает взятки и занимается вымогательством. А как орган борьбы с преступностью она

бездействует. И что, люди на улицах убивают друг друга? Не больше, чем при застое, а то и меньше. Пусть нас не обманет обилие криминальной хроники по телевидению. Это делается по заказу милиции, чтобы создать иллюзию бурной деятельности. Значит, у народа есть внутренние барьеры и способность к самоорганизации. Государство необходимо, кто спорит, но не такое, которое ставит главной своей целью порабощение личности и устранение инакомыслия. А иногда, из соображений величия, в духе «чтобы враги боялись», еще и истребляет собственный народ. Это государство — дракон, пожирающий нас и наших детей. И когда я в тридцать шесть лет заведовал всем имуществом этой страны, я сделал все, чтобы оторвать этому дракону яйца. У государства не должно быть интересов, отдельных от интересов граждан. Когда у государства много собственности, у него неизбежно появляются такие интересы. Таким образом, чем меньше у государства собственности, тем меньше его интересы отличаются от интересов народа. И оно становится компактной организацией, работающей по контракту с народом. Кажется, оторвал. И ни о чем не жалею... Вру! Жалею.

— *О чем же?*

— Вот Березовский, Гусинский и иже с ними, с помощью подконтрольных им средств массовой информации, очень много рассказывали про то, как я воровал. А я не воровал. Я ушел из правительства, не имея никакой машины, имея квартиру 70 кв. м на четверых в обоссанном подъезде в доме хрущевской постройки и шикарные чехословацкие костюмы с румынскими ботинками. Во рту

у меня сияла золотая фикса, поставленная еще родителями тридцать лет назад (у меня не было денег сделать себе нормальные зубы). Ну, посудите сами — это портрет преуспевающего ворюги? Нынешние чиновники не стесняются хвастаться швейцарскими часами по сто тысяч долларов и итальянскими галстуками. А у меня, когда я был вице-премьером, не то что собственной, а даже гостиницы не было.

Но сейчас останови любого и спроси: «Кто такой Кох?» Вам не задумываясь ответят: «Ворюга». Так, может, надо было взятки брать? Раз все равно никто не верит... Хотя, наверное, все-таки нет. Что-то мне подсказывает, что есть еще и другой суд. Не людской.

— *Ладно, возвращаемся к двум народам. Я тут недавно додумался, что это типичная ловушка дьявола. Потому что дьявол так и работает, противопоставляя друг другу вещи взаимообусловленные, неразделимые: вроде свободы и порядка. Вы за свободу или за порядок? Да они друг без друга невозможны! Вы за личность или за государство? Да опять-таки за то и другое... Я тебе берусь за год расколоть по этому признаку любое общество!*

— Что любое общество можно расколоть по этому принципу — может быть, и верно. Потому что людей, выше всего ставящих личность, и людей, ориентированных на патерналистскую власть, в мире, допустим, примерно поровну. Пример — раскол Штатов во время голосований за Буша или украинский раскол во время последних выборов. Но в других обществах, вот в чем штука, есть вещи, цементирующие народ помимо этого спора. То есть

американцы, ненавидящие Буша, и американцы, за него голосующие, остаются американцами, они могут сойтись на неких взаимоприемлемых вещах. То же слабее, но все-таки выражено в украинском обществе. А у нас этого цемента нет.

— *Почему?*

— Хороший вопрос, если бы я мог на него ответить — уже, наверное, решил бы эту проблему... Хотя теоретически ответить могу: наверное, таким цементом могла бы стать религия. Но государство всегда подавляло в России любые формы религиозного сознания, а потому эти ценности и не проникли в людей. Не сцементировали их так, как протестантизм в Штатах, где люди могут расходиться по любым вопросам, но сходятся в уважительном отношении к закону и к труду.

— *Государство тут подавляло религию?! Оно ее насаждало, как картошку!*

— Э, нет, это совершенно другое дело. Оно ее присваивало, да, пыталось огосударствить церковь, как присваивало вообще все, до чего могло дотянуться. В результате религии, независимой от власти, — не было, а значит, не было личных внутренних барьеров и у частного человека. Общество не успело выработать платформы, на которой могло бы объединиться независимо от власти и отношения к ней. Когда при Иване III русский митрополит Исидор на Флорентийском соборе признал унию с католической церковью (чисто внутрицерковный вопрос), царь просто прогнал его и назначил своего патриарха, тем самым грубо нарушив все церковные законы. Когда уже фактически ручной патриарх, ужаснувшись злодеяниями, не пус-

тил к причастию Ивана Грозного, тот сгноил его в монастыре. Я уже не говорю о Петре I, который ликвидировал патриаршество и главой церкви назначил себя — садиста, сыноубийцу и алкоголика. И стал требовать от священников разглашения его агентам тайны исповеди. Что уж говорить о большевиках и патриархе Тихоне? В такой атмосфере взаимоотношений между церковью и государством серьезных попыток к независимости церкви от государства и не было — очень немногие священники имели смелость сказать, что подчиняются вообще-то другой инстанции.

— *Послушай... для тебя религия в самом деле настолько важна?*

— Лично для меня? Не больше, чем для тебя. Просто ты на эту тему не думал. А я думал. И вообще, я — православный.

— *И в бессмертие души веришь?*

— А как я могу в него не верить, если произношу Символ Веры? Там так и сказано — «Чаю воскресения мертвых». Что касается веры в бессмертие души — она в России, так сказать, стимулируется самой жизнью. Многие, может, имеют о православии самое приблизительное понятие, но в бессмертие верят хотя бы потому, что должен же быть Высший Суд. Никакой надежды на земную справедливость у них нет — значит, она должна быть где-то там.

— *Ну, или суд истории...*

— С судом истории все непонятно, потому что история тоже присваивается. У государственников она одна, у либералов другая. Нынешние так называемые государственники и патриоты обожают клясть-

ся именами Пушкина, Толстого, Достоевского. Начисто не желая помнить, что именно это их возлюбленное государство (не забудем, что современные патриоты — все сплошь верующие и тайные монархисты) отравило жизнь всем порядочным людям в России, а уж всем ее гениям — вообще по полной программе. Пушкин был в двух ссылках и непременно очутился бы в третьей, судя по динамике его отношений с двором в последние годы. Толстого отлучили от церкви (церкви, уже прирученной государством), у него были обыски, он был под гласным надзором полиции, и его несколько раз чуть не посадили. Достоевский вообще, простите за выражение, четыре года провел на киче, после чего два — в солдатчине. О чем вы говорите?! В то время, когда жили эти три персонажа (а жили они в разное время), они отнюдь не считались образцами патриотизма. А современными им образцами служения Отечеству были личности в голубых мундирах типа Бенкендорфа или Дубельта. Или вообще — Аракчеев.

Нынешние же патриоты, повесив в платяной шкаф свои мундиры с васильковыми околышами и сменив их на статский пиджак, тыкают нам в нос Пушкиным, Толстым и Достоевским, как будто это новость, что эти три писателя были настоящими патриотами России. Кого же ругают эти нынешние патриоты? Чубайса, Гайдара и К^о! Значит, легко предположить, что спустя сто лет у будущих записных патриотов в синих одеждах патриотами будут те, кого нынешние государственники считают едва ли не диверсантами. И знаешь, что я подозреваю? Что лет через сто, а может быть, и раньше, бу-

дут говорить о крепком государственнике Чубайсе, патриоте Немцове... Забывая, как их ненавидели и обвиняли чуть ли не в государственной измене. Обязательно сделают их патриотическими иконами. Потому что результаты будут налицо, они и сейчас заметны. А как их ненавидели нынешние патриоты и государственники и какие палки в колеса ставили — будет уже неважно. А будущих настоящих патриотов эти болтуны будут гноить с именем Чубайса на устах....

— *Знаешь, есть версия, что твоя ненависть к государству — она во многом следствие личной мести. Все-таки сын ссыльных. Из немцев.*

— Это твоя версия?

— *Люди говорят. Вот, потерпел от России и мстит России...*

— Не России. Эти люди, про которых ты говоришь, очень любят отождествлять русское и советское.

— *Но ведь очевидно же...*

— Ничего не очевидно. У них свои понятия о России, у меня свои. Советский Союз я ненавижу искренне и никогда этого не скрывал. Их Россия — крепостничество, за отмену которого они до сих пор ненавидят Александра Второго, вон какие протесты были против памятника ему, который поставил СПС и я лично. Их якобы надпись на постаменте не устраивает — не нравится, что там крепостничество названо рабством. А я повторяю: их Россия — рабская, а моя — совершенно иная. Я верю в ее самоорганизацию и видел блестящие примеры. Великий Новгород. Псков. Казачество.

— *Тебе? Нравится? Казачество?!*

— Восхищаюсь им как способом нормального и свободного жизнеустройства людей, которых никто к этому не понуждал. И заметь, казачество было самым эффективным слоем российского населения — и в армии, и в сельском хозяйстве.

— *Вот это меня и останавливает во всех ваших построениях — упор на эффективность. Я сам очень люблю свободу, самоорганизацию и прочие прекрасные вещи. Но эффективность — это не мой критерий, и в вашем мире мне места нет. Я не умею зарабатывать деньги...*

— В нашем мире вовсе не деньги, вернее, не только деньги, являются критерием эффективности.

— *Все равно. Мои ценности — по определению слабые, их должно защищать государство, в мире самокупаемости они не выживают.*

— Если речь о культуре — ты видел, как ее «защищает» патерналистское государство и какую продажную девку оно из нее делает. Потом, я же не анархист, я вовсе не призываю от государства отказываться. Хотя я недавно перечитал отца анархизма Кропоткина — человека весьма неглупого при всем радикализме, — и со многими его доводами согласился. Ведь анархия — это не безвластие, эту идею оклеветало все то же государство. Анархия — это самоорганизация, личная ответственность.

Я говорю об отмене примата государства. Государство вторично по отношению к личности и имеет только задачи обеспечения ее прав. И никаких других. Народ ничего не должен государству. Налоги — это лишь общак. Для удобства. Так люди договорились. Государство — это результат самоорганизации людей. Но она возможна там, где есть адекватные

люди, способные отвечать за себя. Демократия и либерализм с нашими реалиями совмещаются очень плохо — именно потому, что в сумасшедшем доме демократии не бывает. Рефлексы нашего избирателя самоубийственны. Демографическая ситуация ужасающая, при этом национальная ксенофобия расцветает пышным цветом. Капиталы утекают за границу, при этом ненависть к предпринимательству является стилем жизни даже вполне культурных людей. Я уже не говорю об иждивенчестве, когда даже собственный подъезд, несмотря на домофоны, люди доводят до состояния, достойного скотов. То есть человек вообще не желает ни за что отвечать, полагая себя жертвой обстоятельств, — а виновата, разумеется, приватизация! До чего досуществовался Советский Союз в его прежнем виде — все видели в конце восьмидесятых, когда на полках одни трехлитровые банки с зелеными солеными помидорами стояли. Еще никакой приватизации не было, а уже жрать стало нечего. Еда и вещи — пусть посредственного качества — появились тогда, когда Ельцин и Гайдар в январе 1992 года освободили цены и разрешили свободу торговли. Каждый может идти и торговать — и на тот момент это была единственно возможная мера!

Иначе мы бы просто сдохли с голоду. И весь мир бы нас спасал, как какое-нибудь Сомали. Я же помню, как в 1990 году (еще СССР был), когда я был председателем райисполкома в Сестрорецке, распределялась приходявшая из-за рубежа гуманитарная помощь. Тушенка, макароны, крупы, ношенные вещи. Люди дрались! Стыдоба! Сейчас патриоты это предпочитают не вспоминать.

Люди не были приспособлены к свободе, согласен. Никакой Америки тут патриоты не открыли — еще Аристотель писал, что нельзя требовать готовности к свободе от людей, выросших при тирании. Но если они не желают ничего в себе менять, видя, что их тирания уже несостоятельна, даже и в самом грубом, продовольственном смысле, — кто в этом виноват, кроме них?

— *Ладно, поговорим о том знаменитом американском интервью, которое распиарил Минкин...*

— Я в четвертом томе «Ящика» подробно все рассказал. И про интервью, и про Минкина лично.

— *Вполне разделяю эти оценки. Но все-таки фраза о том, что Россия становится сырьевым придатком...*

— Где там было сказано, что «становится»? Там было сказано, что всегда была!

— *И ты действительно так думаешь?*

— Я не думаю, я знаю. Пенька, лес, сало, впоследствии нефть. Россия сотни лет экспортировала сырье в Европу, а оттуда везла товары. Добывать всегда умели лучше, чем производить. Назовешь вещи своими именами — отдельные люди становятся на дыбы; и добро бы по личному желанию, а то ведь по команде. Тем не менее, живу я в России и съезжать никуда не собираюсь.

— *Ты даже освоил, я вижу, новый род занятий — стал вместе со Свиноаренко руководить «Медведем», книгу вон написал... Вошел во вкус, сочиняя открытые письма?*

— К вопросу о письмах: именно Шендерович, с которым я ими обменялся, представлялся мне на

тот момент наиболее последовательным человеком на НТВ. То есть он не играл ни в какие игры. Он вел себя честно. Не знаю, насколько он адекватен сейчас — и возможен ли еще диалог, — но тогда я к нему относился уважительно. Что касается журналистики — да, мне это интересно сейчас, я занимаюсь журналом, и сочинение «Ящика» доставило нам не меньше приятных минут, чем его распитие.

— *А распитие было?*

— Да почти нет, так, иногда, мы с Игорем выпивали пивка, иногда бутылку винца. Водка, по-моему, была один только раз, в конце. Это название, которое, кстати, я предложил, имеет и другой смысл. Там стоит подзаголовок — «1982–2001 гг.». То есть речь идет о последних двадцати годах русской истории, которые и были таким ящиком водки для страны. И опьянение, и похмелье.

Если же серьезно, то журналистика — это вполне закономерный переход на новое поле. Оторвать дракону яйца можно и в правительстве, но добить дракона может только литература.

— *Ты возглавлял избирательную кампанию правых на последних думских выборах, и она закончилась оглушительным провалом. Правых, собственно, больше и нету. Это вы все в чем-то ошиблись — или виноват исключительно ход вещей?*

— Что такое ход вещей?

— У меня, знаешь, пунктик насчет того, что в российской истории личность никакой роли не играет. Все механически движется. Поэтому, кстати, большинство крупных политиков так катастрофически глупеют, лишаясь должностей.

— Глупости. Горбачев, лишившись должности, значительно поумнел. Сегодняшний Горбачев выглядит значительно симпатичнее и достойнее половинчатого и не очень дальновидного лидера, пришедшего в восемьдесят пятом. Или Хрущев, может быть, поглупел на пенсии? Он только тогда и начал что-то понимать... Что касается роли личности — без личной ответственности я вообще не понимаю, о чем говорить. У нас было море ошибок, да. И одна из главных — она, кстати, не моя, я-то призывал определиться, — была та, что у СПС не было внятно сформулированного отношения к Путину.

— *У «Яблока» было — много ему это помогло?*

— Помогло, но у «Яблока» другая проблема. Эти люди хотят маргиналов сделать героями, а большинство объявить маргиналами. Провозгласить неприспособленность к реальной жизни главной добродетелью. Вот ты говоришь, что в бизнесе был бы неэффективен, — и это начало адекватности, если человек может так о себе сказать. А если он говорит, что неэффективен в бизнесе, потому что сам-то он великолепен, а это бизнес омерзителен, — это «Яблоко». Тут никакой антипутинской или пропутинской определенностью не поможешь.

— *А как ты предлагал определяться — за Путина или против?*

— За. Прежде всего просто потому, что так думало большинство наших избирателей и эффективнее было бы это использовать, чем идти против мнения своих сторонников.

— *Ты учился в Питере, жил там долго... Почему питерские так успешно двинули во власть?*

— Это со стороны видней, пусть Свинаренко отвечает.

СВИНАРЕНКО (*сидящий рядом*). Я думаю, Москва сейчас вступила в новую фазу. Ты заметь, ею — и страной — никогда не управляли люди из Москвы! Рюрик — варяг, Романовы — из Пскова, Екатерина — немка, Ленин — симбирский, Сталин — грузинский, Хрущев — донецкий, Брежнев — днепропетровский, Горбачев — ставропольский, Ельцин — свердловский, потом пошли питерские... Настало время самим собой рулить!

КОХ. Свинаренко — донецкий...

СВИНАРЕНКО. Я серьезно! Не было у власти еще ни одного человека, который бы просто здесь родился!

КОХ. А Александр Второй? Который родился в Кремле? А Петр Первый? Который родился в Преображенском. А Иван Грозный? Да ничего от этого не зависит на самом деле... И питерские все разные, как видишь... Есть Чубайс, а есть, к примеру, Черкесов. Я на самом деле краснодарский, если на то пошло. Это оттуда нашу семью выслали. Или казахстанский, поскольку там родился. Или волжский, поскольку там в школе учился...

— *А где ты учился в Питере?*

— В финансово-экономическом институте. Там хорошо учили, но по-настоящему я интересовался двумя вещами. Они мне и пригодились впоследствии. Первое — прикладная математика. Второе — история.

— *Интересно, а интеграл ты сейчас взял бы?*

— Несложный — конечно.

— *Вот есть парадокс: большинство людей — чиновников ли, олигархов ли, — разбогатев, меняют не*

только образ жизни, но и жену. А ты женат давно и, насколько я знаю, успешно...

— Двадцать шестой год. Насколько успешно, не мне судить. Брак — сложная вещь. Ее нельзя измерить по шкале хорошо—плохо. Это многомерная конструкция. Дети, любовь, секс...

— *Как познакомились?*

— Банальнейшим образом, в общежитии. Оба были иногородние. Вообще это чушь, что олигархи меняют жен. Опять все от человека зависит. Потанин, например, тоже примерно столько же лет женат, что и я. Он, может, не святой, я не лезу в эти вопросы, — но, насколько я знаю, живут они нормально. Трое детей. Если человек подбирает жену под статус — это его проблемы....

2006

Андрей Кончаловский

Разговор накануне 850-летия Москвы. Я тогда не понимал: что Кончаловский делает на этом празднике жизни? А это он собирал материал для «Глянца», сделанного через 10 лет.

— *Андрей Сергеевич, прежде всего — поздравляю, хотя у вас, вероятно, все это вот где...*

— Отчего же, спасибо.

— *Почему именно вы, классический западник, вечный оппонент любимого брата, назначены постановщиком помпезного спектакля на Красной площади?*

— Так вам надо радоваться, что за это взялся именно такой человек. Есть надежда, что не будет той самой помпезности... Вы, кстати, какой смысл вкладываете в слово «помпезный»?

— *Тяжеловесный, торжественный, избыточный, пафосный... Впрочем, такие проекты как раз в вашем духе — вы же мечтали когда-то, если помните, рисовать лазером на облаках.*

— Это как раз не помпезно, а эпично. Эпос — вот что мы собираемся делать. Инициатива исходила не от меня, я приглашен правительством Москвы. Почему — вопрос к нему, но, думаю, сыграло свою роль то, что я известен как оперный режиссер. И, кроме того, моя мама — автор книги «Наша древ-

няя столица»*. Продолжаться все это действо, которое вы заранее назвали тяжеловесным, будет один час сорок минут. И если нужны какие-то аналогии... Вот вы «Стену» видели?

— Паркеровскую? Очень люблю ее. Вы, говорят, дружны с Паркером...

— Да, мы хорошо знакомы, он очень милый, только социалист. Я гораздо раньше него все понял насчет социализма.

— Так и жили-то вы где...

— Да он и помладше... У нас будет работать значительная часть команды, которая делала с ним «Стену». Например, Марк Фишер. Участвует Давид Смелянский и его Русское театральное агентство. Всего занято около тысячи человек, но сцена — это фронт, а еще нужен тыл. В России этого никогда не понимали. Теперь поняли: наше представление обслуживают пятьсот человек.

Я не собираюсь делать идеологический, славянофильский, слащавый спектакль, — в принципе ничто не существует без идеологии, но меня занимают другие вещи. Город — это защита, оборона своей жизни от иноземного вмешательства. Стены возводятся, потом их разрушают, потом отстраивают снова — это извечный, эпический цикл жизни города. И гордиться этому городу есть чем: прежде всего — своей культурой, которая всегда существовала вопреки чему-то и, тем не менее, выжила,

* Для справки: Наталья Кончаловская прославилась не только этой патриотической поэмой, но и отличными переводами с французского, так что в семье Михалковых западничество и славянофильство уживались очень органично. — Д.Б.

оплодотворяемая в равной мере Средиземноморьем и Поморьем. А еще Москва может гордиться тем, что она жива. Не так мало.

— *Мне как раз кажется, что в Москве искусственно насаждается бодряческий, достаточно дешевый образ богатого, самодовольного, быстро живущего города, который на фоне остальной России выглядит довольно противно. Со своим глянцевым самодовольством, найтклубовской культурой и откровенным шовинизмом.*

— А вы уверены, что здесь уместно слово «насаждается»? Честно говоря, я это все считаю нормальным. Люблю ли? — нет, не думаю, но подобные малоприятные вещи хороши уже тем, что происхождение их самое естественное. Идет реинвестиция: люди вкладывают заработанное в то, чтобы немедленно получить машину, ванну и женщину, как вон в том журнале. И непременно фрак! — хотя все они в этих фраках похожи в лучшем случае на метрдотелей. Что до самодовольного и энергичного города — Москва такая и есть.

— *У вас настолько разные картины, что я затрудняюсь найти объединяющую их манеру, присущую только вам, или сугубо вашу проблематику...*

— То есть вы мягко пытаетесь мне намекнуть, что я эклектичный режиссер?

— *Ну, это бы грубо...*

— Ничего не грубо, это слово ругательное только в русской коннотации, а на Западе вполне нормальное. Да, я эклектичен. Потому что я режиссер театральный. Есть такие, которые всю жизнь ставят одну картину. А есть театральные — они обязаны

уметь сегодня делать трагедию, а завтра буффонаду. Вот я из этих вторых. Как Куросава. Мне интересно пробовать разное. И это, по-моему, лучше, чем иметь собственный, ярко выраженный стиль: плохой.

Что касается какой-то генеральной линии, на которую можно было бы нанизать все мои работы... Знаете, искать такой шампур — ваша критическая задача, а не моя. Но если говорить в самом общем виде, моя постоянная тема — взаимообусловленность и взаимозависимость добра и зла. А любимый прием, в некотором смысле фирменный, — это лейт-мотивы. «Сибириада», которую я вообще считаю одним из самых, что называется, своих фильмов, вся построена как рондо: сквозные образы — цепь, дорога, ворота, бегство...

— *Я никогда не понимал: почему вдруг двадцать лет назад — «Сибириада», какую вы задачу себе ставили, берясь за нее?*

— Уехать поскорей... (Смех.)

— *Есть версия, что «Сибириада» — ваш прямой ответ на «XX век» Бертолуччи...*

— Естественно! Только у меня была идея провести все события XX века через одну деревню, один кусок земли... Бертолуччи меня вдохновил, я этого и не скрываю. А я — его. Он надписал мне фотографию: «С благодарностью за то, что я не один. И за то, что мне опять захотелось снимать кино». Это было после «Дяди Вани». И в «Последнем танго» я с радостью узнал свои двойные рамы — отражение в них. Это не заимствование, это он мне привет передал.

— *Мне показалось, что все-таки самая интимная, самая ваша картина — «Гомер и Эдди», что-то в ней такое есть милое...*

— Вообще интимность в кино — вопрос везения: я много раз уже говорил, что в кино творчества десять процентов, а остальные девяносто — рутина. Снимаешь сорок кадров, и в двух из них узнаешь что-то свое. Собрать деньги, людей, технику, подгадать пейзаж, освещение, настроение — какая уж интимность... Но если говорить о принципиальных для меня картинах, то ведь заказная работа у меня была всего одна — «Танго и Кэш». Все остальные я признаю целиком своими и так или иначе выражающими меня. В наибольшей степени это «Сибириада», «Ближний круг» и «Курочка Ряба». «Ближний круг» мне интересен тем, что очень ведь трудно снять фильм о Сталине, в котором Сталин появится всего на 20 минут. Это картина даже не о сталинизме, а об иванизме...

— *От Ивана Грозного?*

— Нет, просто от слова «Иван». Это стиль, насаждавшийся Сталиным, господствовавший при нем. «Курочку Рябу» я тоже люблю. Говорили, что она злая... На самом деле Россия ведь действительно такая. Она не меняется.

— *По-моему, как раз той России, о которой вы снимали «Сибириаду» и «Рябу», сейчас почти нет...*

— Да Господи, куда она денется! Россия неизменна: это крестьянская, шекспировская страна...

— *В каком смысле шекспировская?*

— Ну как Англия шестнадцатого века... И жизнь такая же, и страсти такие же. Мы не одиноки, вот Бразилия, вот Индия... То, что вам сейчас кажет-

ся исчезновением России, — это как раз здоровый процесс: это жестокость русская, крестьянская, наружу выхлестывает. Она была под спудом, за коммунистической решеткой, а сейчас полезла наружу — ну и правильно, страна опять становится собой. Нет такого, чтобы вот это было хорошо, а вот то — плохо. Эклектичный режиссер — плохо, режиссер одной темы — хорошо. Или крестьянская страна — плохо, а цивилизованная — отлично. Не бывает так. Все взаимообусловлено и перемешано, все не прекрасно и не безобразно, а так, как есть. Мое главное отличие от Никиты — что у него есть люди плохие и есть хорошие. То есть даже нет! У него почти нет плохих. А у меня все всякие.

— *Вам нравятся «Утомленные солнцем»?*

— Хорошая картина, только здесь, мне кажется, он насилует себя, загоняя свою фактуру и своих персонажей в тридцать седьмой год. Это другое было время, по-моему. Оно больше пахло кровью и портянками.

— *Так это он как раз вам отвечает — «Ближнему кругу»...*

— Естественно. Мы всю жизнь друг по другу отстреливаемся: я сделаю — он ответит, он сделает — я отвечу...

— *Вы сейчас привезли «Одиссею»; мне картина очень нравится — в том числе своей автобиографичностью, простите меня сразу же за такое грубое прочтение.*

— Нет, я, берясь за «Одиссею», ничего такого в виду не имел, конечно. Мне просто давно хотелось ее сделать. Но в каком-то смысле — великий текст потому и великий текст, что каждый его примеривает на себя и обнаруживает сходство. Странствие

Одиссея — это всякое жизненное странствие, у каждого своя Сцилла и своя Калипсо, и в известном возрасте любой мужчина отождествляет себя с этим героем.

— *Особенно когда он уезжает за три моря, а дома в это время ломают его мир...*

— Нет, конечно, таких параллелей там нет. Мы следуем Гомеру, вот и все.

— *А Одиссей случайно — вылитый Бродский?*

— Даже не думал об этом. Но если вам так кажется, это хорошо.

— *Если уж зашла речь о параллелях с Одиссеем, как складываются ваши отношения с сыном?*

— Он трудолюбив, что радует... Но карьера его складывается не совсем так, как мне бы хотелось. После Кембриджа ему имело бы смысл поехать в Голливуд и научиться ориентироваться в коридорах власти. Я страшно жалею, что так поздно попал в Голливуд! Я стольким вещам поздно научился! Например, доказывать продюсеру, что ты действительно очень талантлив...

— *Недавно Владимир Сорокин и Александр Зельдович в киносценарии «Москва» почтили память золотой молодежи шестидесятых-семидесятых — писательских деток, которые чего-чего не вытворяли... Вы принадлежали к этой же прослойке, к самым сливкам...*

— Нет, я не из золотой молодежи в таком смысле. Дело в том, что Петр набросил на Россию очень тонкий плащ цивилизованности. Цивилизация была в дефиците, она была доступна только в определенном заповеднике. Но ведь дети партийной элиты — тоже золотая молодежь, и образ жизни у них был тот еще! Нам пел один и тот же

Армстронг, но слушали-то мы его по-разному. И потом, золотая молодежь — это праздность. А я последние сорок лет вкалывал, как вол. Я почти все время ставил, у меня не было пауз. Я писал сценарии, чтобы были деньги, — у меня только поставленных сценариев двадцать штук. Большинство — в Средней Азии. За это хорошо платили, были потиражные...

— *Я из ваших сценариев знаю только «Рублева» и «Транссибирский экспресс»...*

— А «Лютый»? А «Седьмая пуля»?

— *Это же ужас!*

— Что значит ужас? Классические вестерны!

— *И что вами двигало в этой бешеной деятельности? Вы же действительно написали и поставили колоссально много, по российским меркам...*

— Жажда самореализации, избыток энергии, и потом — у меня все легко получалось.

— *Несколько раз ваши актрисы выходили за вас замуж — впервые такое случилось на «Первом учителе», повторилось на «Романсе о влюбленных» и на «Любовниках Марии». Это особенность вашего темперамента или специфика профессии?*

— Режиссура — дело чувственное. В каком-то смысле с актрисой проще объясниться, когда ее любишь. В каком-то — сложнее. Это никак не исключительная особенность моего темперамента: сплошь и рядом такое происходило у Бергмана, у Чаплина... Моими женами действительно были Аринбасарова и Коренева, а о союзе с Настасьей Кински, игравшей в «Любовниках Марии», я никогда не помышлял. Вернее, если и помышлял, то очень недолго.

— *Но она несколько раз говорила, что у нее от вас сын...*

— Слухи. Но вообще Настасья — очень талантливая актриса и очень красивая женщина. Гениальная ошибка Бога: крупный рот, огромные глаза, вздернутый нос, лицо неправильное, а глаз не оторвать.

— *Кто ваша семья теперь?*

— Я не хотел бы об этом распространяться.

— *Вам нравится сейчас работать в России?*

— Стало гораздо лучше. Появилось много людей, способных не только говорить, но и делать. И делать больше, чем говорить.

1997

Александр Кушнер

Иногда мне кажется, что Бродский и Кушнер повторяют век спустя двух других авторов — Тютчева и Боратынского. Бродского с Боратынским роднит не только внешнее сходство, но и биография (ранняя катастрофа, сравнительно поздний дебют в печати, несколько любовных драм, итальянские путешествия, ранняя по нынешним временам смерть). Кушнер, напротив, сознательно или бессознательно культивировал в себе сходство с Тютчевым: жар под золой, скрытый лирический темперамент, стоицизм, самообладание, тоска, прямая спина, суховатое общение, прокламированный (хотя скорее внешний) антиромантизм.

— *Александр Семенович, возраст как-то влияет на ваше самочувствие?*

— Решительно никак. Я не задумываюсь о возрасте.

— *А писать меньше не стали?*

— Мне не труднее сочинять, чем в ранней юности. У меня нет о жизни никакого априорного знания, я пытаюсь разобраться, как она устроена. И потому она практически ежедневно подбрасывает мне материал: это как пыль на столе — сегодня ее сотрешь, а завтра опять скопится. Манеру, позволяющую писать без кризисов, без долгих пауз, с максималь-

ной естественностью, — я, наверное, нашел после «Примет», году к шестьдесят девятому. Кризисной была середина семидесятых, но с «Дневных снов» — своей любимой книги — я уже мало меняюсь.

— *Вам не нужны какие-то дополнительные стимулы — иногда, может быть, рюмка, иногда сигарета?*

— Я не отказываюсь от рюмки, но пишу всегда на трезвую голову. Курить начал лет в сорок, и то все больше во время работы: написать стихотворение без сигареты трудно.

— *Вам присылают стихи на отзыв?*

— Очень много. Я всегда отвечаю, если нравится, а если не задевает — молчу. Сегодня поэт формируется годам к тридцати или даже позже. Впрочем, этому есть объяснение: кого, скажите, надо было осваивать Лермонтову? Опыт европейского романтизма да Пушкин. Нынешнему поэту предстоит выстроить отношения со всем двадцатым веком. На это уходят годы. Обычно поэт складывается к сорока, и потому литобъединение, которое я веду, уже давно перестало быть ЛИТО в строгом смысле. Это клуб единомышленников, немолодых людей, которым есть что вспомнить вместе.

— *А «Библиотека поэта», которую вы редактируете, жива?*

— Слава Богу, вышел Кузмин, вышел сборник «Русская эпитафия», в том числе большая подборка стихов с памятников, вроде «Жестокая холера, какого ты сгубила кавалера — семеновского унтер-офицера»... Есть потрясающие перлы. Последние тома — футуристы и имажинисты. По-моему, это интересные книги с замечательным подбором и комментариями.

— *Что вы любите перечитывать из своего?*

— Я вообще себя не перечитываю, разве что при составлении сборников. Не люблю многие стихи в «Голосе» и «Прямой речи» — то было время средневозрастного кризиса, ломалась жизнь, ломалась манера... Начиная с восьмидесятых моя жизнь изменилась, это видно и по стихам, которые стали счастливее, и по новому ощущению свободы, с которой я стал их писать. Это связано прежде всего с переменами чисто личными — со вторым браком.

— *И тем не менее, вас обижает, когда вас называют счастливым, легким поэтом...*

— Да ничуть меня это не обижает, напротив — я счастлив, если произвожу такое впечатление! Многие ценой всей жизни учатся выглядеть счастливыми, ненавидят вызывать сочувствие, а я никогда не стремился нацепить такую маску, наоборот, меня всегда упрекала советская критика за элегические настроения... Быть несчастным легче, это не требует усилия, — счастливым по принуждению стать тоже нельзя, но поди сохрани способность радоваться простым вещам! Цвету, звуку, погоде... Так что я никоим образом не стремлюсь в трагические поэты. Я только настаиваю, что счастье невозможно без соседства бездны, без мысли о смерти, которая везде — как нитка в иголке, как горечь в вине... Паскаль ставил рядом с собой стул, чтобы отгородиться от бездны. Я отгораживаюсь иначе. Но, кажется, по стихам видно, до какой степени я ее чувствую все время.

— *«Нет ли Бога, есть ли он — узнаем, умерев, у Гоголя, у Канта, у любого встречного, за краем. Нас ус-*

троят оба варианта». Странно, что вас сегодня устраивают оба варианта там, где прежде не устраивал ни один.

— Наверное, счастливая любовь вообще способствует жизнепрятию. Вообще же однозначных ответов здесь быть не должно, ибо личное наше несчастье еще не делает жизнь трагедией, а личное счастье — земным раем. Все изменчиво. У меня есть стихотворение, из последних, любимое больше остальных, я вам его прочту в небольшом сокращении.

Верил я в Бога или не верил в Бога —
Знает об этом вырицкая дорога.
Знает об этом морская волна в Крыму —
Был я открыт или был я закрыт ему.

Книга раскрытая знает, журнальный столик.
Не огорчайся, дружок, не грусти, соколик —
Кое-что произошло за пять тысяч лет.
Поизносился вопрос, и поблек ответ.

И вообще это частное дело, точно.
И не стоячей воде, а воде проточной
Душу бы я уподобил: бежит вода,
«Нет» — говорит в тени, а на солнце — «да».

— *Вы следите за политикой?*

— Не следить за ней нельзя, но пристрастий у меня нет. Потому что я точно знаю: любой человек, попадая в российскую власть, сходит с ума. Хорошо, если он продержится полгода. Но боюсь, что окружение ему не позволит. Уровень и масштаб лизоблюдства таковы, что адекватность самооценки исчезает уже через месяц. А тогда человек себя

не контролирует — может хоть войну начать, хоть половину граждан истребить. Я не вижу сегодня человека, из которого власть за полгода не сделала бы чудовище, — кое-кому хватит и недели.

— *Но уезжать...*

— Пока возможно оставаться здесь — нет.

— *С кем вы дружите из шестидесятников, которых вам обычно противопоставляли?*

— Поэты редко дружат. С большинством я поддерживал приятельские отношения. От заносчивости, сомнений и самоповторов меня посильно спасал петербургский образ жизни — вдали от шума, наедине с личными проблемами. Я не посягал и надеюсь впредь не посягать на обобщения. Я с симпатией относился к Белле Ахмадулиной, мне нравится Евтушенко — он и по-человечески талантлив, добр...

— *Его доброта кокетлива.*

— Как почти всякая.

— *Бродский полагал, что будущее русского стиха связано с развитием просодии, с открытием новых размеров — более широким применением дольника и акцентного стиха, например...*

— Мне кажется, что более перспективен другой путь — насыщать новыми ритмами, дыханием, интонационными сбоями как раз традиционный стих. Чтобы это был ямб, но в то же время не совсем ямб. Вместе с тем Бродский, конечно, прав, — новая просодия, новое дыхание сейчас нужны стиху, как никогда, мне самому надоела длинная строка и эпигонские стихи со множеством культурных реалий, напоминающие монолог высокомерного экскурсовода. Поэзия должна говорить о мелочи, в ней

должно оставаться время... Акцентный стих в этом смысле, конечно, перспективен.

— *Вы близко знали Лидию Гинзбург. Только что вышло новое издание ее записных книжек — отчего-то с титулом «страшная книга». Когда-то действительно казалось — страшная, но перечитываешь сегодня — и нет такого острого потрясения. Может быть, такая жизнь была у страны в эти десять лет? Или такая проза XX века прочитана в это десятилетие, — она ведь толком не переводилась...*

— Нет, знаете, проза Гинзбург продолжает поражать, но не в этом безобразном издании, плохо подготовленном, неграмотно составленном... Я знал Лидию Яковлевну с конца пятидесятых годов, когда об ее прозе никому не было известно. При жизни она была признана прежде всего как филолог, ученица Тынянова. Прозу показывала только своему кругу и печатать начала лишь в последние годы, очень выборочно. Я не думаю, что следует называть книгу Гинзбург страшной. Это сомнительная реклама. Это замечательный пример интеллектуальной честности, бесстрашного анализа того вранья, которое человек выстраивает в себе и вокруг себя. И думаю, что в этом пафосе саморазоблачения, в этом дописывании до истины Гинзбург, атеистка убежденная и с огромным стажем, более религиозна, чем многие новые верующие.

— *Вас не смущает мода на Кузмина? И, вследствие этого — или параллельно с этим, — на гомосексуализм?*

— Кузмин, разумеется, «дорог нам не этим». Дорога́ его неподражаемая домашняя, интимная интонация, совершенно новая в русской лирике,

восходящая, быть может, к пушкинской непосредственности. И вовсе не обязательно быть гомосексуалистом, чтобы понимать: «Я жалкой радостью себя утешу, купив такую шляпу, как у вас...» Разве это не знакомо вам, мне? Что касается гомосексуализма, — в молодости, читая Пруста, я поражаюсь количеству упоминаний о перверсиях, мне казалось, что это явление редкое и не столь значимое. Оказалось — необычайно важное, распространенное, со своей культурой, и стоило у нас начаться свобода, размышлять над этими коллизиями пришлось и нам. Гинзбург шутя говорила, что существуют три приметы гомосексуалиста: любовь к Кузмину, балету и Прусту. Видимо, меня спасает то, что я не люблю балета.

— *Говорят, у вас есть своя версия насчет одной из главных загадок Кузмина. Что имеется в виду в стихотворении «Есть у меня вещица, подарок от друзей»?*

— Граммофонная пластинка, конечно. Она может разбиться, она хранит голос...

— *А у вас, в своеобразном ответе Кузмину, — «Есть и у меня вещица, сам ее купил»?*

— Да, об этом догадаться сложнее. Зажигалка.

— *Вы, кажется, решили опровергнуть все поэтические стереотипы: счастливы в семейной жизни, лет 30 любите одну женщину и пишете о ней, сочиняете сильную лирику после пятидесяти, не пьете, трагическое мироощущение сочетаете с доверием и любовью к жизни, либерализм — с государственнымничеством...*

— Дожил до семидесяти... Анненский лучшие вещи написал в последний год жизни, уже за пятьде-

сят; Тютчев и Фет писали в старости замечательную лирику; Баратынский был прекрасный семьянин (ему нравилось это слово); Мандельштам всю жизнь (с кратковременными отвлечениями) любил одну женщину — свою жену; Тютчев не пил, Маяковский тоже; Пушкин сочетал либерализм и «государственность»... Под поэтический стереотип попадает, кажется, один Байрон — и тот англичанин.

— *Но отчаянные ваши стихи из «Голоса» и «Таврического сада» на вечерах заказывают из зала чаще. Может, счастливому человеку стихи не особенно нужны?*

— Толстой смеялся над этим, говорил о Тургеневе: «Траги-изм, траги-изм... Где он видел трагедию?» Разумеется, Толстой прекрасно знал, как страшен этот мир, но ведь не только страшен, не правда ли? Когда-то я писал в «трудную минуту» жизни: «...И мальчик не заслуживал вниманья, / И дачный пес, позевывавший нервно. / Трагическое мирозерцанье / Тем плохо, что оно высокомерно».

Блоковское угрюмство замечательно сочеталось с «добром и светом», с «соринкой на ноже карманном», с тем, как «упоительно встать в ранний час»... Об этом имеет смысл сказать, потому что сегодня мы затоплены беспросветным нытьем в стихах, дешевой мрачностью и оголтелым цинизмом. А счастливые стихи (вспомним Фета или Пастернака) хороши еще и потому, что за ними стоит знание о быстротечности жизни, краткости счастливого мгновения, заговаривание собственной боли. Едва ли не самые жизнеутверждающие стихи Мандельштам написал в 1937 году!

— *Каковы преимущества возраста?*

— Прямая, соединяющая не три-четыре, а, скажем, десять точек на плоскости, дает возможность увидеть узор судьбы, ее сложный, ветвящийся рисунок.

— *И закономерности общей истории, добавил бы я.*

— Исторические закономерности, увы, я готов поставить под сомнение. И Лев Николаевич, и марксистская историческая доктрина, и школьные учителя, твердившие о малой роли личности в истории, льстили истории. Ее делают личности, ими определяется очень многое.

Я склонен назвать переломной датой в нашей новейшей истории 1953 год, когда испустило дух отвратительное чудовище. Мне было 16, и я хорошо помню не только ужасы войны, но и постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» — нам его разъясняли в классе, и борьбу с космополитизмом, и журнал «Крокодил», и «дело врачей». После — возвращение несчастных из лагерей, возможность «тайной свободы» за письменным столом, медленное прибавление света.

Вся вторая половина века, несмотря на срывы и возвратные течения, была благополучной. Достаточно сравнить судьбу моих ровесников с судьбой старшего поколения, чтобы понять, о чем идет речь.

— *Не стоит валить на Сталина всю вину за садомазохизм русской истории...*

— Всю — не стоит; я согласен с Мамардашвили, сказавшим, что свой маленький Сталин был в каждом коллективе. Но будь на его месте другой человек — история безусловно была бы иной; говоря, что все подчинено ее закономерностям, вы снима-

ете ответственность с частного человека, а именно эта ответственность кажется мне фундаментальным принципом, основой совести, если угодно.

Всякая частная жизнь имеет смысл, и проследить его всегда увлекательно; история не имеет никакого смысла и никакой цели. Можно ли радоваться крушению высоких цивилизаций, падению Афин или Рима, и торжеству варварства, пришедшего им на смену? Какие оправдания можно найти для инквизиции или фашизма? Сталинизма? Клио, муза истории, — кровавая муза. Я не противопоставляю историю и природу: обе принципиально чужды любой морали. Тектонические сдвиги, землетрясения, извержения вулканов так же безответственны, как исторические катаклизмы. История непредсказуема.

— *Кстати, о распадах империй: у вас были стихи о том, как сильно влияет география страны на лирику, интонацию, самоощущение... Что произошло после отпадения Грузии, Армении, Украины — они ведь много значили и для вас лично?*

— Зато прибавились Франция, Италия, Англия, Америка — советский мир схлопнулся, большой мир открылся. Но это не компенсирует распада страны. Дело не в личных дружбах, с которыми ничего, по счастью, не сделалось, и не в так называемой геополитике и имперских амбициях. Дело в том, что, понимая неизбежность распада СССР, постарайтесь проявить такт и уважение к русскому сознанию: страна собиралась веками, Россия вела не только колонизаторскую, но и цивилизаторскую работу. Смирились бы Соединенные Штаты, если бы у них отобрали Флориду? Но ведь Крым для нас значит ничуть не меньше...

«Когда страна из наших рук / Большая выскользнула вдруг / И разлетелась на куски, / Рыдал державинский басок / И проходил наискосок / Шрам через пушкинский висок / И вниз, вдоль тютчевской щеки. / Я понял, что произошло: / За весь обман ее и зло, / За слезы, капавшие в суп, / За всё, что мучило и жгло... / Но был же заячий тулуп, / Тулупчик, тайное тепло...» Не следует бесконечно дразнить оскорбленное национальное чувство, унижать человеческое достоинство: не только украинское, грузинское, латышское, но и русское тоже. Нельзя предъявлять непомерные требования: необходимо время, смена поколений, осторожность и терпеливая работа, иначе в России может случиться то же, что в Германии в 30-е. Отвратительна ксенофобия, мне стыдно за то, что в Петербурге убивают то таджиков, то грузин, то индийского студента. Власть должна, обязана положить этому конец. Но проблема сложна, многогранна — и это тоже надо знать.

— *Кстати, у вас совершенно нет общеинтеллигентского страха перед народом. Более того — на фоне этого народа, особенно в Вырице, едучи на велосипеде за продуктами, вы не особенно и выделяетесь...*

— А чем выделяться? Мы живем более или менее одной жизнью, в советские времена она была еще тесней, монолитней — и страдания дяди Пети из моего стихотворения о Боге, читающем «в небесном кабинете жизнь незамечательных людей», не менее важны, чем страдания Гете. Что до отсутствия страха, здесь ведь почти все зависит от первых впечатлений, еще детских. Мы с матерью во время войны оказались в эвакуации в Сызрани, мне было пять лет, я видел вокруг себя чрезвычайно симпатичных и доброжелательных

людей... Никто никогда не сказал мне там, что я чужак. И с чего бы мне, офицерскому сыну, впоследствии школьному учителю, чувствовать себя элитой?

— *А не было ли у вас, напротив, чувства зависти к советской аристократии, к духовной элите, к потомственной интеллигенции?*

— Вы мне приписываете прустовские комплексы — это он мечтал о проникновении в салон герцогини Германтской. Что такое вообще «советская аристократия»? Замечательно об этом сказано у Ахматовой: «Полукрадено это добро». Тоже мне сливки общества — светские-советские салоны с полупривилегированной-полудиссидентской подоплекой... В этом смысле я благодарен судьбе за свою жизнь в Петербурге: у нас этого было меньше, чем в Москве. Человеку приходилось думать самому, без оглядки на государственный или либерально-оппозиционный диктат.

— *Не кажется ли вам, что некоторые черты петербургского характера явили свою «изнанку» — после прихода ваших земляков к власти обнаружились издержки петербургской натуры: мстительность, прямолинейность, холодность?*

— Я все-таки думаю, что петербургский характер во власти не так опасен, как ставропольский или как засилье екатеринбургских подголосков вокруг харизматического лидера... В конце концов, москвичей во всей стране не любят гораздо сильнее, и стоило бы задуматься — почему. Петербург долгое время был откровенно затерт. В том, что сегодня он берет свое, есть некая справедливость. Кроме того, петербургский характер — это сдержанность, четкость, самодисциплина, способность к диало-

гу, европейская ориентация; мы дали вам не самых плохих людей — Кудрина, Грефа, Чубайса... Я ведь понимаю, о чем вы говорите. Петербург — тяжелый город. Его черный декабрьский денек, «где к зловещему дегтю подмешан желток», выдержит не всякий — это наша расплата за белые ночи. Жить в Петербурге нельзя без мужества, некоторой замкнутости и готовности на безвестность: пирог славы делят и поедают в Москве.

— *Вы согласны с мнением Михаила Пиотровского — «этот город построен сильными людьми для сильных людей»?*

— Да. Подчеркиваю: сильных, а не наглых и самовлюбленных.

— *Нет у вас страха, что все сползет обратно?*

— Нет. Россия, конечно, не Англия, но ведь и Англии понадобилось несколько веков для обретения английской демократии. А нашей всего 15 лет. Больше всего я боюсь «нетерпения» — это хорошо понимал Трифонов, о чем и написал в своем романе о народных волях. Летом живу в Вырице, ее всю застроили коттеджами, и владельцы этих коттеджей будут защищать их до последнего. Это только кажется, что свободу отнять легко. Попробуйте отнять коттеджи, а ведь между ними и свободой имеется прямая связь.

— *Вы перепробовали многие варианты заработка. Какой кажется вам оптимальным?*

— Гонорар.

— *Такое было возможно только при советской власти.*

— А Пушкин, который в значительной степени жил на литературный заработок, а потом еще стал издавать «Современник»? А Некрасов, при котором

журнальное дело впервые стало приносить огромные прибыли? А символистские журналы?

При этом я считал и считаю, что вторая профессия необходима — просто чтобы чувствовать себя увереннее. Наверное, я предпочел бы преподавание. Но сегодня, в моем возрасте, — не школьное, которым в молодости был занят десять лет, а университетское. Если бы мне дали составить свой курс русской поэзии и читать его, а еще лучше — вести семинар вроде того, что я вел для английских студентов-славистов несколько лет у себя дома, я бы не отказался.

— *Как же: «Английский студент через сорок / Лет, пусть пятьдесят, шестьдесят, / Сквозь ужас предсмертный и морок / Направив бессмысленный взгляд, / Не жизни, — прошепчет по-русски, / А жаль ему, скажет, огня, — / И в дымке, по-лондонски тусклой, / Быть может, увидит меня...»*

— Вполне допускаю.

— *Есть условия, которые необходимы вам, чтобы писать? Сигарета, рюмка, тишина в доме, погода?*

— Предпочтительна солнечная погода. В пасмурную я чаще хандрю.

— *У вас были стихи о хандре — «Но есть же какое-то средство»... Вы его нашли с годами?*

— Стихи. Причем писать их, конечно, можно не во всяком состоянии, но все равно неплохо помнить, что ты это в принципе можешь сделать. Это немало.

— *У Новеллы Матвеевой были стихи: «А строчки — подобье отдушин, но жизнь утекает сквозь них». Вам не жалко, что вы все время писали — пока жизнь куда-то шла и другие жили?*

— Нет. Это лучшее, что я мог сделать. Про утеkanie жизни сквозь строчки хорошо сказано, но это

позиция романтическая. Я сказал бы так: я жил — и моя жизнь в стихах. Меня вполне устраивает, что я писал стихи, а не «жил на всю катушку». Мог бы. Не скажу, что поэт обязательно хороший человек... Но все-таки писание стихов как-то шлифует душу, позволяет «вернуть ее, умирая, в лучшем виде». А главное — поэт все время занят, поглощен своим делом днем и ночью, без выходных, а потому у него и нет времени на злодейство, требующее большой сосредоточенности. Быть мерзавцем еще и очень обременительно, не так ли?

Я вовсе не считаю, что все должны любить стихи, или музыку, или живопись, вообще — искусство. Вырицкая старуха, разводящая под своим окном цветы, может не знать ни одного стихотворения, но она ближе к поэзии, чем многие, в том числе некоторые поэты. Вот моя любимая мысль, которой я дорожу и которую часто повторяю: поэзия разлита в самой жизни; ощущение такое, что кто-то позаботился о том, чтобы набегали на берег морские волны, шумела листва, сверкали звезды над головой. Для одного из нас смысл жизни заключается в любви, для другого — в любимой работе, для третьего — в осмыслении происходящего, для четвертого — в накоплении земных благ, для пятого — в Боге и т.д. Но есть смысл, открывающийся время от времени всем, даже самым скучным людям, объединяющий всех, — поэтический смысл жизни. А поэт занят тем, что закрепляет его в слове.

2004, 2006

Юлия Латынина

Латынина ставит меня в тупик как мужчину, журналиста, писателя, человека — в общем, во всех отношениях. Я не понимаю, как так можно. По-мужски мне непонятно, откуда в женщине, в бабе, грубо говоря, такой аналитический мозг и такая память, и истинно мужское отсутствие иллюзий. По-журналистски я не понимаю, откуда она берет всю свою экзотическую фактуру — бесконечные взаимные проплаты и подставы олигархов и властей: как они ей это сливают, на женское обаяние покупаются, что ли? Но я ведь знаю, как она с ними разговаривает. Она с ними необаятельна. Она их откровенно стебает. Может, дело в азарте — они все пытаются разбудить в ней женское и хвастаются своими подвигами, а она мотает все на отсутствующий ус и вставляет в романы? Но и как романиста я ее не понимаю: как можно столько писать? И притом качественно, вполне увлекательно, временами очень смешно. Не понимаю я Латынину. А главное, не понимаю, как она, все это зная и описывая, умудряется тут жить. Зачем? Давно бы устроилась куда-нибудь.

— Договариваемся сразу: личную жизнь не трогаем.

— *Юль, как скажешь. Но юбилей можем упомянуть?*

— Что за повод? Я не скрываю возраста, мне исполняется сорок лет, но возраст же не этим определяется.

— *А чем?*

— Числом перемен, перерождений. Думаю, надо кардинально меняться каждые пять лет. У меня в принципе получается.

— *Хорошо, я помню античный цикл, помню фэнтезийный — китайский, потом ахтарский (романы про «Изюбря» плюс «Промзона»), потом кавказский («Джаханнам» плюс «Ниязбек»). Что дальше?*

— Совсем другое. Я пишу сейчас новую книгу, о которой никому и ничего не говорю. Я подвержена суевериям, не вижу в этом ничего дурного, а в моей практике уже были случаи, когда я показывала пол-работы. В «Эксмо». В результате роман не напечатали. Правда, я этому рада — он был плохой. О новой книге могу сказать только, что конец уже виден, но работы еще на все лето; она большая; она про другое, хотя и про современную Россию.

— *А не было у тебя соблазна написать роман вот чисто о чувствах? Чисто о любви?*

— Ну, от чувств — и от романов о них — не закупаются. Но вообще я считаю, что главная черта моей прозы — хороша она или плоха, — это переход экономики из фона, из некоего вспомогательного ряда в число главных действующих лиц. Экономика — это и жизнь, и слезы, и любовь, и предрассудки родовые, и гроба тайны роковые. Да, у меня был фэнтезийный период, несколько китайский, востоковедческий, — но и там меня интересовало прежде всего устройство общества, а фантастика — только для того, чтобы на чистом примере, как

на идеальном газе, показать, как все это работает. Когда я как следует это поняла — стало можно писать реалистические романы, о России. Хотя это не совсем реализм, конечно. Это некоторая типизация и огромные допущения, как в «Джаханнаме».

— *Тебя никогда не волновал вопрос, почему российские антиутопии до сих пор не сбываются? Ведь у тебя в том же «Джаханнаме» так подробно описан комбинат, превращающийся в бомбу всероссийского масштаба...*

— Да, в стационарный пояс шахида. Сразу скажу, что рассматривать роман как руководство к действию нельзя, об этом я позаботилась. По химической части меня консультировал Михаил Ходорковский. Думаю, эта информация ничем ему не повредит. Меня интересовало: можно ли взорвать большой химический завод, который в результате отравил бы огромную территорию вокруг себя? Ходорковский сказал, что химию учил уже давно, надо проконсультироваться со специалистами, — и подсказал несколько заведомо невозможных реакций, чтобы мой роман никогда и никем не мог быть использован в качестве учебника. Между тем я знаю в России — в Ингушетии, в частности — несколько предприятий, которые, случись там что-нибудь, уничтожат миллионы людей вокруг. Без всякого теракта, по элементарной беспхозяйственности или чьему-нибудь неумеренному хищничеству.

А почему антиутопии не сбываются... Надо в таких случаях говорить: слава Богу! И не искать никаких объяснений. Потому что я сама этого не понимаю. Казалось бы, все уже до такой степе-

ни прогнило, что... Но держится непостижимым образом, не иначе как бесконечным Божьим милосердием. Я потому, наверное, и перешла к кавказскому циклу — потому что ахтарский мне перестал быть интересен. После «Охоты на изюбря» и «Промзоны» уже вполне ясно, что продается и покупается все, копаться в этом уже скучно, и история бесконечных разводов и подстав ничего качественно нового не содержит. Говоря о Кавказе, я нисколько не идеализирую, скажем, дагестанцев. Или чеченцев, которые очень резко от них отличаются, — все-таки в психике народа, который вывезли в ледяные степи умирать, что-то надламывается непоправимо. Но когда речь идет о Кавказе — по крайней мере понятно, что там люди отвечают за свои слова.

— *Ой ли? По-моему, они просто так себя позиционируют, извини за выражение. А на самом деле внутри та же гниль, только с огро-о-омными понтами.*

— Ты только им этого не говори, ладно?

— *Но ты же пока не они?*

— Нет, я с тобой не соглашусь. Это не значит, что я безоговорочно принимаю все в кавказском характере или, как ты писал в рецензии, люблюсь им. Есть вещи, которые меня, как бы сказать, настораживают. Вот убили Джабраила Костоева, замминистра внутренних дел Ингушетии. При этом взорвалась и случайно проезжавшая мимо машина с четырьмя мирными жителями. Одного знакомого чеченца я спрашиваю потом: ну хорошо, погиб Костоев, его считали врагом, боевики сводили с ним счеты, но вот эти мирные люди — как насчет них? Он отвечает: «Что ж, они стали шахидами». Я говорю: но они

как-то не планировали, да? Как-то не имели этого в виду? На что он ответил: Аллах имел в виду. Так что это своеобразные характеры, да. Но если чеченец тебе рассказывает о том, как он бился против пяти танков и победил — это означает, что один танк все-таки был. Тогда как в ахтарском цикле стало элементарно невозможно строить сюжет — не может быть драматических коллизий между персонажами, у которых нет никаких ценностей. Я, может быть, выгляжу иногда как журналист-расследователь, и романы мои называют расследованиями, — но это не так, то есть корни не там. Я пишу героический эпос, меня интересуют герои. Для меня нет плохих и хороших — в жизни, может, есть, в литературе мне это разделение неинтересно, потому что специфика такая. В «Илиаде» кто прав? Гомеру неважно. Гомер пишет о войне, о героизме с обеих сторон. Есть Ахилл, есть Гектор, есть коллизия между ними, хотя формально они враги. Но это не значит, что кто-то из них плох. Это классическая война за интересы, взаимоуважительная, по правилам. Ахилл и Гектор меня интересуют, Терсит — нет.

— Ну да, по этой причине у тебя фактически отсутствует в книгах народ.

— Да, мне этот упрек предъявляли. Штука в том, что я пишу о реальных действующих силах этих войн, а народ в них никак не действует.

— Почему, он у тебя появляется один раз в «Промзоне». Когда двое рабочих заметили, что плотину прорвало, и спокойно пошли домой пить чай.

— Я честно пыталась ввести в «Промзону» героя рабочего класса. Искала ему нишу так и сяк — ну, пусть он лидер профсоюза; ну, если нет профсою-

за, пусть какая-то женщина, что ли, будет в него влюблена, хоть через постель его как-то замотивировать... Нет рабочего героя, не придумывается, лажа получается. «Илиада» без рядовых.

— *Воображаю, как бы в твоём исполнении выглядела настоящая «Илиада». Президент Зевс с помощью представителя спецслужб Гермеса развел Ахилла как лоха, закошмарил Приама, устроил так, что девушка Менелая ушла к молодому перспективному олигарху Парису, ребята собрались по понятиям и поехали рейдерски недружелюбно поглощать Трою; будут долгие терки, а разрулит все это...*

— Одиссей!

— *Да, как самый хитроумный.*

— Это занятный проект, надо подумать... Но если серьезно — не надо принижать значения промышленных войн девяностых. Это были не только хищнические разборки. Тут демонстрировались чудеса ума и храбрости, были свои подвиги, а главное — это было время не только мелких жуликов и коллаборационистов. Это было время и героев тоже.

— *И где сейчас эти герои?*

— Мои — живы. Те же Извольский, Цой... Прототипов они не имели (хотя Цой, пожалуй, имел и даже вышел узнаваемее других). Но крупные олигархи — они в порядке. С той лишь разницей, что не брезгают сдавать друг друга. Часто бегают в Кремль стучать. Как старые русские олигархи — при Анне Иоанновне, когда всех их удалось очень быстро построить.

— *Я рад, что ты видишь сходство нашего времени с эпохой Анны Иоанновны.*

— Да, пожалуй, из всех аналогий эта самая близкая.

— *Я только Бирона не нахожу при нынешней власти.*

— А Игорь Иванович Сечин чем тебе не Бирон?

— *Не думаю, что он принимает решения.*

— Уверяю тебя, он принимает решения. И многое делает для того, чтобы царство Анны Иоанновны продлилось на третий срок. Думаю, именно с этим была связана кампания против Сергея Иванова — в которой я, правда, поучаствовала, даже зная, что за травлей Сергея Борисовича стоит Игорь Иванович. Сергей Борисович в любом случае поступил непозволительно. Дело даже не в истории рядового Сычева и реакции на нее. Дело в истории с сыном Сергея Борисовича, с заявлением о том, что мальчик пережил серьезную моральную травму. Вот на Кавказе отец такого не сказал бы о сыне, сбившем женщину. Он избил бы его как следует или сдал бы в тюрьму (он комфортно посидел бы несколько месяцев, а Сергей Борисович с гарантией стал бы президентом — это был бы поступок, который не забывается). Или просто кавказец в этой ситуации поехал бы с деньгами к семье потерпевшей — просто потому, что таковы правила. А Сергей Борисович подставился и травлю безусловно заслужил. Так вот, Игорь Иванович очень не хочет, чтобы Владимир Владимирович ушел в 2008 году. Потому что после этого Игорь Иванович и вся его команда будут никто или, во всяком случае, совсем не то, что сейчас.

— *И кто тебе видится преемником?*

— Я об этом даже не думаю, потому что почти уверена: Владимиру Владимировичу придется остаться

на третий срок. Его будут очень сильно уговаривать. И преемника он может не увидеть — ему постараются внушить, что передать власть элементарно некому. Я уверена, что любой преемник, включая лабрадора Кони, будет лучше для страны, чем Владимир Владимирович. Не потому, что Владимир Владимирович так плох. А потому, что любой преемник лучше, чем разрушение конституции. Если у власти будет лабрадор и регент при нем — это конституцией не запрещено, а значит, приемлемо. А если Путин останется на третий срок — значит, конституция легко попирается и в этой области, и в других.

— *И каковы, по-твоему, сценарии этого третьего срока?*

— Если Владимир Владимирович удержит страну, за это время может сформироваться нормальная оппозиция, готовая прийти к власти. Мировая экономика достаточно наглядно показала, что никакой альтернативы демократии сейчас нет. Все страны, отказавшиеся от этого пути, так или иначе оказались банкротами либо идут к тому. Если не удержит, — а предпосылки к этому есть, и от экономической конъюнктуры они никак не зависят, поскольку даже самой благоприятной конъюнктурой надо уметь пользоваться, — к власти действительно может прийти такое, что о Владимире Владимировиче будут вспоминать с нежностью и тоской.

Главная особенность нынешнего Кремля — та, что там сначала придумывают слова, а потом в них начинают верить. Скажем, до убийства Кадырова у нас шел на Кавказе «мирный процесс». И все поверили, что идет мирный процесс. Это потом

уже поняли, что у нас там передний край борьбы с международным терроризмом, и в это поверили тоже. После чего война распространилась уже не только на Чечню, но и на весь Кавказ: случился Беслан. Сегодня нет решительно никаких предпосылок к тому, чтобы Россия потеряла Кавказ, но при нынешней политике и это возможно — потому что современная российская власть сама себе создает проблемы на каждом шагу. Это было как во время абхазских выборов, когда шла отчаянная агитация против Багапша. А Багапша и так не хотели выбирать. Когда первый сенатор выступил против него, пиарщики Багапша подумали: ну все, мы проиграли. Когда выступил второй, они стали надеяться. А после третьего поняли, что выиграли. Окончательно их в этом убедил Олег Газманов, который приехал агитировать за Хаджимбу и называл абхазцев «дорогими аджарцами». То есть люди стараются, делают все возможное, чтобы создать себе проблемы. Допустим, была блистательная идея создать всемирный «Газпром» — приглашение Шредера было только первым шагом. Идея, насколько я понимаю, исходила от Путина. И план действительно роскошный: можно было после Шредера пригласить туда, допустим, Ширака. Это была бы супермегакорпорация, газовый холдинг с крупнейшими политиками Европы во главе, по сравнению с которой «Юкос» — так, мелочь. И Европа почти уже пошла на это — но тут одна австрийская фирма не захотела продать России один насос, и Алексей Миллер поговорил с австрийским послом в таких тонах и выражениях, что весь план полетел кувырком. Это был нормальный прессинг

с великодержавными обертонами — да мы! да вас! И Европе расхотелось с нами объединяться, и она тут же заинтересовалась некоторыми особенностями нашего бизнеса, и начались нежелательные вопросы... То есть стремлением контролировать все и вся, верить в собственные термины и говорить со всеми сверхдержавным тоном нынешняя власть может загубить даже самую благоприятную ситуацию. Это же касается и ее поведения с оппонентами...

— *Ты, может быть, скажешь, что Ходорковский не желал взять власть?*

— Какая разница — желал, не желал? Совершенно очевидно, что он НЕ МОГ ее взять. Вражду между ним и властью искусственно раздули, постоянно намекая, что он рвется к власти и опасен. Диктовалось это сугубо коммерческими соображениями, история очевидна, я одного не понимаю — почему власть этому верит? Ясно же, что из Ходорковского она своими руками сделала политическую фигуру такого масштаба. И таких ошибок — в месяц по несколько, в последнее время просто одна за другой. Поэтому я не исключаю, что даже на самом ровном экономическом и вытоптанном политическом фоне нынешний президент может выпустить страну из рук еще до 2008 года. Хотя заниматься прогнозированием-2008 я после Доренко уже не хочу.

— *А по-моему, у тебя бы получился интересный роман на эту тему.*

— Нет, у нас с Доренко творческий метод разный. Он берет живых людей и делает из них фантомов: его Путин — не Путин, Сурков — не Сурков... Я поступаю ровно наоборот: выдумываю людей

и с их помощью исследую реальные обстоятельства. Этот метод хорош для социальных романов, а не для прогнозов.

— *Я читал у тебя недавно, что сырьевых сверхдержав не бывает. Кто тебе это сказал? Может, в новом мире как раз другие реалии...*

— Примеры, пожалуйста.

— *Я не знаю пока примеров! Может, Россия будет первым...*

— Не будет, потому что так не бывает. Ни одна страна не может стать сверхдержавой за счет сырья, особенно в нынешнем постиндустриальном мире, где нефть определяет далеко не все. При написании компьютерной программы затраты на нефть вообще почти не требуются. Сколько они там составляют — 0,07 процента? Я вообще не понимаю, на каком основании мы сегодня называем себя сверхдержавой? Только потому, что через наши терминалы прокачивается в сутки два и девять миллионов тонн? В Штатах прокачивается пять и девять, и, тем не менее, они не считаются сырьевой сверхдержавой... Россия свой сверхстатус утратила, это объективная вещь, произошла она не вчера. Если и дальше пытаться не замечать этого — возможна катастрофа. Если научиться с этим жить — возможен рост. Но у меня сильные сомнения по поводу интеллектуального потенциала спецслужб.

— *Ты писала, что они вообще мало в чем компетентны...*

— Да, мне почему-то попадались такие. Иногда мне кажется, что они ничего не умеют вообще. Это касается, впрочем, почти всего нашего аппарата,

повторяющего одни и те же ошибки. Вот вспоминается мне иранская революция, 1979 год. У нас тогда в Иране сидел послом Виноградов. Хомейни, как известно, «большим дьяволом» считал Америку, а «малым» — СССР. Виноградову намекают, что его присутствие в стране нежелательно. Он отправляет домой депешу — «идут переговоры» — и едет к Хомейни. Хомейни его принимает и повторяет то же самое. Виноградов опять пишет — «идут переговоры». И едет снова. На этот раз Хомейни его уже не принимает, он пишет, что идут переговоры, и вновь добивается приема. Только тогда ему прямым текстом говорят, чтобы он быстрее летел в Россию, иначе правительство ни за что не отвечает. И только тогда он летит. Примерно такая же ситуация разыгралась с Ираном сегодня: они говорят, что им не нужно наше посредничество, — мы повторяем, что идут переговоры. Сергею Кириенко открытым текстом объясняют: не надо. А он опять: идут переговоры. Это еще не спецслужбы, это обычные чиновники. А спецслужбистский горизонт того ниже — мне часто предлагали в качестве эксклюзива, слива и сенсации такие протухшие вещи, что я начинала бояться за государственную безопасность. Если они так же ее защищают, как работают с прессой и олигархами, — ну, не знаю...

— *У тебя никогда не было ощущения, что «Эхо Москвы», на котором ты вещаешь, и «Новую газету», где печатаешься, Путин сохраняет намеренно? То есть оппозиция, при всей чистоте ее намерений, как бы часть путинского плана?*

— Нет, я тебе объясню. Путин делит всех людей на врагов и предателей. Предателей — вроде Березовского — он ненавидит. Это спецслужбист-

ское у него. И им никакой пощады нет. А врагов он уважает. Так вот, мы — враги. Мы его никогда не предавали и не предадим.

2006

— *Прежде всего скажи честно: после августовского разноса, устроенного Путиным «Эху», ты ушла в отпуск по своей, путинской или венедиктовской инициативе?*

— Исклчительно по своей. И не в отпуск, а в командировку. У меня в новом романе газ на шельфе добывают, а я все до Уренгоя не могла доехать.

— *Но был слух, что последовало императивное требование убрать из эфира тебя и Новодворскую...*

— Обо всем, что касается «Эха», лучше спрашивать у Венедиктова, но могу сказать тебе с полной уверенностью, что решение приостановить выступления Новодворской на «Эхе» исходило от него. И я с ним вполне солидарна. Если «Эхо» закроют — я не хочу, чтобы его закрывали за добрые слова о Басаеве. Я считаю, что Новодворская выбрала этот момент, чтобы сказать доброе слово про Басаева, совершенно сознательно.

— *Но позиция твоя по грузино-осетинскому конфликту не изменилась?*

— Она изменилась только в том смысле, что обросла многочисленными подкрепляющими ее доказательствами, взятыми, кстати, из открытого доступа — из родной нашей газеты «Красная звезда», с которой никаких ЦРУ не надо, из блога оператора телеканала «Звезда»... Вообще, чтобы анализировать эту войну, нужен не военный специалист. Нужен Оруэлл. Помните — «по меркам войн прошлых веков эта война — мошенничество»? Пример: в ночь

на восьмое августа грузинами якобы разгромлена гуманитарная колонна. Пардон, кто это в ночь войны посылает в Цхинвали гуманитарную колонну? Да еще в республике, где 3—4 августа чуть не всех вывезли? Но колонну разбомбили. И оператор «Звезды» Назиуллин подтверждает, что ее разбомбили, в 5 утра в Джаве. Он попал под бомбежку с этой колонной. Он приехал в Джаву в 5 утра, из Цхинвали, по которому шла артподготовка, и пишет: и тут я увидел колонну российских танков. Наши войска были в Осетии задолго до официального начала «грузинской агрессии». Передовые части 135-го и 693-го полков вошли на территорию республики как минимум 7 августа. Ребята, у меня вопрос — если вы хотели предотвратить войну, чего вы не разместили эти части на границе с Грузией? Чего ваш рояль стоял в кустах? Там довольно жуткие вещи, с точки зрения Оруэлла. Там люди, которые дают показания официальной осетинской комиссии по расследованию геноцида, все говорят — мы два дня сидели в подвалах и рядом стояли грузинские танки. И нас долбила артиллерия и авиация. Ребята, если танки стояли грузинские, если эти танки уничтожены артиллерией и авиацией, то чья была артиллерия и авиация? А потом Вадим Речкалов, за что ему низкий поклон, публикует снимок оператора установки «Град», который говорит: «Мы стреляли по Цхинвали, чтобы его взять».

— *И каков был сценарий этой войны, по твоей версии?*

— Думаю, что она должна была начаться в ночь на 9-е силами осетинских и абхазских партизан. Ну, корейский летчик Ли Си Цын. 9 и 10 августа — вы-

ходные, ООН в отпуске, а Путин, Буш и Саакашвили, напротив, на Олимпиаде. Это очень приятно — сказать, глядя в лицо Саакашвили: «Я не могу дозвониться до Кокойты. Он вышел из-под контроля». Это чисто по-пацански, я бы сказала. Когда 7-го грузины начали выдвигать свою технику, мы испугались и скомандовали «фас». Из Владикавказа стали выдвигаться новые колонны, параллельно с обстрелом Тамарашени. Что такое обстрел Тамарашени? Это уничтожение вражеского укрепрайона перед проходом колонны. Это очень важно понять, что грузинский участок Транскама между Джавой и Цхинвали был, по сути, укрепрайон. Что должен делать Саакашвили, когда он видит, как укрепрайон, преграждающий путь на равнину, сносит артподготовка перед прохождением колонны? Жаловаться в ООН? Ну, он и до сих пор бы жаловался, весь в белом. И грузинская оппозиция его бы не ругала. Она бы хвалила освободителя Гиоргадзе.

Все это не значит, что я не вижу вины Саакашвили в происходящем. Вижу, и огромную. Он не сумел выстроить отношения ни с Абхазией, ни с Осетией. Это ж надо было умудриться — превратить Южную Осетию из совместного грузино-осетинского предприятия по контрабанде в совместное российско-осетинское предприятие по борьбе с Саакашвили. Ты знаешь, что самое смешное? У меня новая книжка кончается российско-грузинской войной. То есть она, эта война, в другом месте, но механизм тот же самый — абсолютная злая воля, ограниченная и в то же время поощряемая жадностью. Мне все хотелось эту новую книжку как-то камерно кончить: а не вы-

танцовывалось. Так что я вчера дописала книжку — и тут хлоп! Я включаю телевизор и вижу, что ее уже экранизировали. Прямо в программе «Время».

— *То есть книжка о Кавказе?*

— Ну.

— *Ну, и как, по-твоему, — Россия теряет Кавказ?*

— Ничто не потеряно, пока оно не потеряно. Слушай, кто б мог предположить пять лет назад, что Грозный станет картинкой?

— *Какой ценой?*

— Ценой свободы Чечни.

— *Только Чечни? А кто убил Ямадаева в центре Москвы?*

— Ну, это была дуэль. Или нет. Слушай, Рамзан — это колесо, а Ямадаевы — это палки, которую совали в это колесо. Колесо сломало палку.

— *А что будет, если кто-то ломает колесо?*

— Грузия-2, в непредставимом масштабе. Я же и говорю, книжка об этом. Я ее сначала хотела назвать «Земля неверия», потому что это продолжение «Земли войны», а потом назвала ее «Не время для славы». Ну не время для понтов. Понимаешь, в Грузии наша армия доказала, что умеет воевать. Это гениальное открытие Путина. Все эксперты говорили: эту армию надо переделать, она непригодна для точечных конфликтов, это паровоз, а не «мерседес», у него нет круиз-контроля, у него нет гидроусилителя руля. А сделали гениально! Зачем переделывать армию? Лучше переделать войну. Зачем кидать бомбы точно? Будет кидать, как придется, а Саакашвили придется задуматься над тем, что удары по площадям куда хуже точечных.

И что раздетая армия в ряде случаев куда опасней одетой. Наши неудачи в Чечне оттого и были, что мы паровоз пытались использовать для нанесения точечных ударов. У паровоза точно не получалось, да еще и журналисты рядом стояли и кричали. А сейчас зашибут паровозом всех и защищать будет некому — Политковской нет, а если и найдется кто другой — слушать не будут уже никого.

— *И тебя?*

— И меня, разумеется. Как там Путин сказал? «Я повешу Саакашвили за яйца»? Знаешь, в чем мое преимущество перед Саакашвили? Меня-то за яйца точно никто не повесит.

— *Не могу не спросить о твоей реакции на создание «Правого дела»...*

— Знаешь, это не так плохо. Не потому, что возникает разрешенная оппозиция, — у меня насчет этой оппозиции никаких иллюзий, как и у нее самой, кажется, — а потому, что к этому делу пристегнули Чубайса. Если возникнет желание насчет чьих-то яиц, Чубайс может прийти в Кремль и сказать, что делать этого не нужно; и есть шанс, что его услышат, как и Саркози. У других такого шанса нет.

— *Ну хорошо, вот в России кризис. Может он что-то изменить в политическом смысле?*

— В какую сторону?

— *Затрежит неустойчивый дуумвират, появится что-нибудь более осмысленное...*

— Что касается дуумвирата, механизм его ликвидации запущен. В некий момент — может, под Новый год, уважая традиции Ельцина, может, когда рупь рухнет, но гаданиями я не занимаюсь, —

Дмитрий Анатольевич встанет и скажет: простите, не справился. И в Кремль вернется тот, ради кого и затеяно увеличение президентского срока — думаю, все мы знаем этого человека.

— *Ты уверена, что так и будет?*

— Я уверена только в том, что все для этого сделано. До послания можно было сомневаться, после — трудно. Разберемся теперь в том, что такое кризис: это занятная история, отличная от мировой. Ты вот мне скажи, можно ли носить воду в решете?

— ?

— Можно, если сверху льется больше, чем выливается снизу. Оно и лило, но тут перестало, и деньги стали уходить на Запад стремительно. Так что выбор у этой экономики простой: погибнуть либо от инфаркта, либо от кровотечения. При инфаркте принято разжижать кровь, но тут сложный случай: у больного гемофилия. Все финансовые вливания немедленно уходят на Запад, но никакие совещания в Белом доме в присутствии силовиков, следователей и прессы остановить этот процесс не могут. В Китае — могут, а в России — нет. Они утром совещаются, а днем сами же и уводят. В России, если называть вещи своими именами, ни один государственный орган не работает как надо. Вот, допустим, недавняя история с лодкой «Нерпа», о которой я говорила довольно много: лодка эта на самом деле — «Чакра», и готовилась ее передача Индии. А она не готова, это нормальная история в наших контрактах с индийцами: все делается не вовремя, военные требуют дополнительного времени и денег. Угадай с трех раз: эти индийские деньги будут оседать в России или на Западе? Российская

экономика могла существовать при сверхвысоких ценах на нефть, и эти цены существовали довольно долго, и все выглядело гладко, хотя большинство населения отлично понимало хрупкость пузыря. Существуют же две официальные версии на все случаи жизни: если мы процветаем — это вопреки Америке, потому что, как она ни старается, ей не удастся опрокинуть нашу твердыню. А если у нас кризис — это не мы, это Америка виновата. Истина же заключается в том, что от американского и мирового кризиса детонирует наш собственный пузырь, который при соответствующих нефтяных ценах держался бы еще какое-то время.

— *А не может так получиться, что в результате коллапса этой дутой экономики во власть придут люди, реально кем-то выбранные?*

— Кто? Белов — Поткин?

— *Нет, конечно... а что, других нет?*

— Отличие наших избирателей от американских, допустим, состоит в том, что в Америке голосуют налогоплательщики. У них другая степень ответственности. Кто платит налоги, тот и заказывает музыку. Кто должен был платить налоги в России в середине 90-х? Предприятия. Кто был реальным выборщиком? Их хозяева.

— *Так налоги-то они и не платили....*

— А! Так этот их отказ от социального контракта и привел к тому, что Каха Бендукидзе называет «теорией сингулярного избирателя». По его теории, в странах СНГ постсоветских происходит сокращение числа избирателей до одного человека. Но думаю, что революция — точнее, эволюция — произойдет сверху. У страны с неустойчивой

конструкцией власти во время кризиса два выхода: либо умеренные свободы, либо скатывание в сторону Северной Кореи. Первый вариант, по-моему, не особенно реален.

— *Но если толпы выйдут на улицу?*

— В том-то и дело, что в России на улицу может выйти только толпа. Народ на улицу выйти не может. Потому что народ — это не избиратели. Народ — это налогоплательщики. У нас ведь сейчас, строго говоря, не тоталитарное государство. У нас режим, который я обозначила бы как «квазитоталитаризм». Мы не страна-изгой, потому что у страны-изгоя нет счетов на Западе. Мы не страна-агрессор, как мы ни кричи, никто не поверит, что мы станем лупить «Искандерами» по собственной недвижимости в Карловых Варах. Мы не полноценная диктатура, ибо диктатура предполагает идеологию и проект. Наконец, мы не препятствуем отъезду граждан в другие страны, в отличие от настоящих тоталитаризмов, в которых выезд строго ограничен. Наоборот, в этом плане мы распахнуты: все, кому здесь не нравится, вольны ехать куда угодно. Ровно такая же ситуация в других квазитоталитаризмах вроде Саудовской Аравии или Ирана. Больше того: чем больше мозгов уедет из страны, тем она, кажется, больше обрадуется. Я уж не говорю о том, что в настоящем тоталитаризме всегда есть хоть намек на модернизацию страны — настоящих нефтяных империй не бывает, я об этом давно говорю. Сырьевое — всегда «квази». И вот во время кризиса наиболее вероятный сценарий — скатывание этого «квази» к полноценному чучхэ, с поправками на всякую национальную специфику. Я совершенно

не разделяю оптимизма людей, которые верят, будто вследствие финансовых передрыг в России прибавится свободы. История России — и не только, но наша в особенности — показывает: от передрыг если чего и прибавляется, так это страхов. А напуганные люди мало способны сопротивляться ужесточениям.

— *«Новая газета» опубликовала твоё расследование убийства Андрея Козлова. Ты не собираешься превратить его в книгу?*

— Пока не знаю.

— *Почему ты вообще взялась за эту тему?*

— По личным соображениям. В том смысле, что лично я с Козловым недоговорила, недообщалась, он был мне интересен как один из немногих государственных чиновников, — если не единственный, кого я лично знала, — кто был честен кристально, патологически. Может, это нехорошо было: какого черта, после его смерти у семьи осталось три тысячи долларов. На семью реально собирали коллеги — я не могу вспомнить ни одного случая, когда после смерти чиновника добровольно скидывались бы на поддержку оставшихся родственников.

— *У тебя нет сомнений в виновности Френкеля?*

— Ни малейших. Редкой бестолковости киллеры и редкой бестолковости заказчик. И вообще — не надо заказывать убийства через бабу. Аскерова написала явку с повинной через десять минут. Потом начались отказы от показаний, ссылки на то, что их выбивали, давили, — особенно меня поразило требование Френкеля проверить, не принимал ли Козлов наркотики перед смертью. Не знаю, что Френкель надеялся доказать: может, что Козлов

в приступе наркопомешательства сам застрелил своего шофера и себя с целью дискредитировать своего врага Френкеля? Там вообще было много красочных деталей.

— Скажи, а принцип «Не время для понтов» ты распространяешь на всех, не только на Кавказ?

— Ты знаешь, кто нашел киллеров Козлова, когда они уехали на Украину? Оперативник, которому выписали отпуск, чтобы чего не вышло, и который поехал туда на собственные деньги. Ты думаешь, он получил хоть премию? Он получил insult, легкий, по счастью. А между прочим, сколько кричали: «Премию дадим тем, кто нашел». Не знаю, может, там кто-нибудь вверху чего и получил. Но хочу заявить: дело Козлова раскрыто на личные деньги занимавшихся им оперативников. Это я к чему: на Западе делать свое дело — норма, а у нас — подвиг. По счастью, у нас много любителей подвигов.

2008

Орхан Памук

Поговорить Памук предложил сам. После его пресс-конференции в Питере, посвященной выходу «Снега» в «Амфоре» (раньше там уже вышли «Черная книга», «Меня зовут красный» и «Белая крепость»), народ устремился на фуршет, состоявший сплошь из турецких сладостей. Памук налил себе турецкого кофе и подошел к столику, за которым его бурно обсуждали питерские студенты.

— Если вы не прочь, я бы поговорил, — сказал он. — Я немного могу по-английски, и вы небось тоже.

Все закивали. Пресс-конференция шла на турецком, переводчица замучилась переводить памуковские аккуратные колкости.

— Просто у меня сложилось впечатление, что из присутствующих вы меня типа читали, — *сказал он студентам и мне, отиравшемуся тут же в надежде на интервью.* — Так что если имеются вопросы, я готов. Нормальный разговор с читателем — единственная приятность во время раскрутки книг. Мне приходится ездить и разговаривать, я этого не люблю, моя бы воля — сидел бы по двенадцать часов за столом и писал. Я писатель в самом чистом виде, во всей его, так сказать, прекрасной жалкости. Я ничего, кроме этого, не умею, в музыке я идиот, живопи-

сю интересовался с семи до двадцати двух и даже рисовал, но ничего путного не нарисовал. Учился на журналиста, но журналистикой не занимался ни дня.

— *Что, не нравится наша профессия?*

— Хорошая профессия, но для нее нужен другой темперамент. В общем, я ничего как следует не умею, поэтому даже не знаю, что ценного могу вам сообщить. Почему-то очень много политических вопросов задают в России, а я что, политик?

— *Вы, значит, думаете, что литература не влияет на политику?*

— Почему, она влияет... но это же взаимная вещь. Если политика сильно впечатляет писателя, в ответ он может написать роман, который сильно впечатлит политику. Случится некое общественное движение, пойдут круги... Но это палка о двух концах: если вы пишете сильный политический роман, он необратимо меняет вашу жизнь и чаще всего ставит вас под удар. Если слабый — вам ничего не грозит, но зачем писать слабый? В результате политическая книга у меня, в общем, одна — «Снег».

— *Про что?*

— Хороший вопрос. Я мог бы сейчас принять позу, сказать — вот, содержание моей книги нельзя передать несколькими фразами... Но я честно признаюсь, что все мои книги можно пересказать в трех предложениях, потому что не в сюжете дело. Герой «Снега» — молодой поэт. Приезжает к девушке своей, жениться. Она живет в пограничном городе, на границе России и Турции. Он приехал, а уехать не может — все выезды снегом завалило. Ну и там несколько детективных историй, служащих поводом

для авторских размышлений... о границах, об империях, о том, что после них остается...

— По «Черной книге» у меня было ощущение, что вы по империи все-таки ностальгируете. И вы, и многие...

— Не столько в «Черной книге», сколько в «Стамбуле — городе воспоминаний». Я объясню сейчас, что остается от империи. С ней происходит... как со звездой в какой-то момент. Звезда превращается в черную дыру страшной плотности. Империя схлопывается, стягивается в один город, огромный, всемирного значения, в котором есть все. Город-государство, сконцентрировавший в себе века истории. В него приезжают люди со всей страны, в том числе с окраин; в нем воплощаются черты всех архитектурных стилей... Все главные города Европы, да и мира, — такие памятники былого могущества. От Римской империи остался Рим, от британской — сумасшедший всеместительный Лондон, от Османской — запутанный и величественный Стамбул, полный меланхолии. Лучше всего, когда от империи остается меланхолия, а не бурная такая, несколько реваншистская тоска, что вот, мол, как мы когда-то наводили ужас на человечество... Я не сторонник тоски по аморализму, а наше великое прошлое всегда аморально. Надо, чтобы получалось, как с любовью. В любви тоже много всего, в том числе и грязи, и ревности, и подпольных страстей. Надо, чтобы от нее оставались не шрамы, не жажда мщения, а чистая печаль. Литература, собственно, и должна заниматься переводом страстей в чистую печаль... и с этой целью я написал «Стамбул». От российской империи остались даже два великих

города — Москва и Петербург, и это логично, потому что у империи было, так сказать, два лика. Оба города невероятно много в себя вобрали, каждый — отдельная страна, это и есть самый ценный результат многовекового имперского существования. Соответственно меняется и главный литературный жанр: вместо боевой хроники — путеводитель.

— *Вас много спрашивают про ислам, но извините, придется и мне...*

— Давайте, я не против.

— *Ислам с христианством в принципе способен уживаться?*

— Всегда уживался, а тут вдруг неспособен. Это кто придумал? Это придумали люди, которым почему-либо нужен доступ к очень большой нефти. Иракской, в частности. Придумали мировое зло, раздули его до бессовестных масштабов, приписали исламу то, чего в нем и нету вообще, вылушили из него все лучшее, что есть, всю его поэзию, весь смысл... Я не говорю, что радикализма не существует. Я говорю, что ислам к нему не сводится. А кто хочет отождествлять мусульманство с нетерпимостью и зверством — пусть честно признается про нефть.

Вот Турция, допустим. В ней уживаются не только ислам и христианство — в ней столько всего, что даже у меня, родившегося и выросшего в Стамбуле, голова кругом идет. И все ужасно радикальны, так радикальны, что просто конец света. Есть очень категоричные военные, требующие немедленного переворота. Есть очень твердые коммунисты, вообще коммунизм в большой моде, полно экстремалов в диапазоне от че-геварской романтики до маоистской прагматики. Есть дюжина религиозных сект

плюс фундаменталисты разных конфессий. Есть несколько светских движений, сторонники бурной европеизации, есть поклонники Ататюрка (к ним принадлежит, кстати, моя семья), есть упомянутые ностальгисты, не могущие примириться с утратой имперского статуса. Всего я насчитал бы штук двадцать влиятельных политических сил. И то, что их так много, — это и залог всеобщей выживаемости. Если бы к власти пришел кто-то один или если бы жизнь состояла из борьбы каких-то двух, очень может быть, что конец света в самом деле не заставил бы себя ждать.

— *А! Вот как раз наш Андрей Архангельский из «Огонька» говорит, что Памук как настоящий постмодернист требует снятия бинарных оппозиций.*

— Он меня, видимо, читал?

— *Да, конечно.*

— Ну вы скажите ему, что я не совсем все-таки постмодернист. Я модернист скорее. Если бы я состоялся как художник, это был бы модерн с национальными, довольно архаичными корнями... модерн же, собственно, и обратился к архаике в поисках новой серьезности... Постмодернизм — это когда все более или менее равно всему, то есть в буквальном смысле всем все равно. А модернизм — бурная борьба разного, и этого разного много. Я в самом деле не принимаю мира, поделенного на две краски. Если вам кто-то пытается представить его двухцветным, — скорее всего, вас дурят, причем небескорыстно.

— *Кстати, почему у вас так четко соблюдена цветовая символика, у каждой книги свой цвет? «Черная книга», «Зови меня красным», «Белая крепость»...*

— Наверное, комплексы несостоявшегося художника. Тут видите, в чем опасность, — я вам что-нибудь скажу о моей личной цветовой символике, а вы истолкуете неверно. У красного — свои коннотации, у черного и белого — тем более...

— *Больше всего у голубого.*

— Видите, на каждом шагу вляпываешься в двусмысленность. Так что отвечу общим местом: это основной колорит книги.

— *Мне показалось, что «Красный» сделан не без влияния Акутагавы...*

— В том смысле, что он первым придумал описывать события с нескольких точек, рассказывать одну историю разными голосами. Вещь, характерная для азиатского писателя, проходящего, что ли, европейскую школу. Вдруг понимаешь, что точка зрения не одна, что есть другая совершенно культура, что в разных пересказах одна история выглядит диаметрально различным образом... Но больше всех, думаю, влиял все-таки Борхес. На «Черную книгу» особенно.

— *По-моему, совершенно мертвый писатель.*

— Не мертвый, а классический. Это разные вещи. Перенесите его приемы на свой, интимно близкий материал, — и будет живой.

— *А что это в мире сейчас повальная мода на два жанра — на конспирологический детектив и альтернативную историю? Ведь и вы этого не миновали...*

— Э, нет. Наше время, конец двадцатого века в особенности, — это не то чтобы эпоха новых тенденций, а пора наиболее отчетливого проявления старых. Раньше все как-то маскировалось, а теперь вышло на поверхность. Литература всегда

любила детектив и альтернативную историю, тяготела к этим жанрам, и если вас это не устраивает — что вы меня ругаете, давайте с Достоевского начинайте! «Преступление и наказание» — чистый конспирологический детектив, с богатой культурологической и философской подкладкой, с намеками на теорию сверхчеловечества, которая и до Ницше уже была вовсю... Штирнер, в частности... Альтернативная история — пожалуйста, Толстой... «Война и мир» — что, так и было, как он пишет? Андрей Болконский был адъютантом Кутузова? Вы еще третий жанр забыли, семейная сага, где главный интерес — кто на ком женится; пожалуйста, Тургенев, Толстой — тоже все ваши... Иное дело, что в настоящей литературе это костяк, фабульная основа, и ее не видно, на нее наращено много мяса, есть поэзия, пластика, описания, размышления... А сейчас много халтурят, и остается голый скелет: детектив, альтернативка... Я, кстати, не читал «Кода да Винчи», так что следующего вопроса можете не задавать.

— *А у меня был другой. Вот вы позволили себе резкое высказывание в интервью — о геноциде армян — и имели столкновение с государством. Это полезный опыт?*

— Один ваш талантливый мыслитель сказал, что писатель — единственная профессия, в которой полезно все*. Это верно только отчасти, потому что, с одной стороны, все — опыт. А с другой... вот вас побили на улице, это полезно?

— *Нет.*

* А.Синявский: «Писателю и умирать полезно». — Д.Б.

— Почему, это можно описать! Но это противно, понимаете? Писатель по определению натура впечатлительная. От всего зависит. Конфликт с государством его обогащает — и надламывает. Опыт появляется, а воплотить его адекватно иногда уже не получается, таких примеров много. Так что я все-таки за то, чтобы меня не били на улицах.

— *Ну, это не одно и то же — битье на улице и ссора с государством.*

— Уверяю вас, по ощущению — тот же ужас от столкновения с превосходящей силой.

— *А сознание правоты?*

— Оно и на улице есть. Шел, никого не трогал... цветы девушке нес, возможно...

— *Из-за уличной потасовки Гюнтер Грасс за вас бы не вступился.*

— Обязательно вступился бы. Гюнтер Грасс — человек сострадательный. Другое дело, что возник некий промоушен для книг... но мне, честно вам говорю, совершенно не надо такого промоушена! Я хочу красивые книги писать, а не скандальные. Иногда при этом затрагиваешь политическую тему, но не нарочно же... Писатель должен быть как ваш Пушкин, в день рождения которого мы разговариваем. Такой, чтобы его хотелось присвоить всем политическим партиям и каждой что-нибудь годилось. Потому что он — красота, а в красоте — все. Его ведь у вас все хотят присвоить, так? А он никому не дается. Идеал.

— *Как вы думаете, проблема Кавказа и России неразрешима? Или, если взять узко, чеченская проблема?*

— Неразрешимых проблем не бывает. Человечество — это механизм для разрешения всех

проблем. Никогда еще так не было, чтобы жизнь ставила перед ним задачу, а оно отступалось. Что касается конкретно чеченского вопроса, я совершенно не в курсе.

— *Существует ли турецкий национальный характер? Турецкая особенная любовь, например?*

— О, вот про это я вам ничего не скажу. Из принципа. Хватит из Турции делать маргинальную страну. Почему никто не спрашивает про американский характер и особенности американской любви? Мы что — дикари, туземцы, экзотика? Во всем мире примерно одинаковый процент сумасшедших, плохих, хороших... Что касается любви, то все как у всех. Чаще всего она взаимна, иначе бы мир давно пресекся.

2006

Эдвард Радзинский

Поляки вечно мечтали завоевать Россию, но удалось это только Радзинскому. Поражает контраст между его устными телевыступлениями и частными домашними разговорами, сдержанными и лишенными намека на экзальтацию. Но вскоре замечаешь: сказанное в разговоре запомнилось точно так же, как сказанное грозным сценическим фальцетом в телепрограмме.

— *Знаете, у меня сложилось впечатление, что со второй половины книги Распутин вам нравится меньше...*

— Не то чтобы меньше. Не то чтобы я был от него без ума в первой. Просто он стал мне ясен. Приступая к книге, я обычно обхожусь без априорных концепций — мы раскручиваем загадку вместе с читателем. В первое время Распутин ускользал, я никак не мог поймать его. Года с 1912-го, я думаю, все определилось.

— *И что это было такое?*

— Это был человек — безусловно, не без способностей, возможно, даже не без гипнотического дара, — трагическим образом разошедшийся со своей исторической ролью. Вообще самые кровавые исторические драмы происходят именно из-за того, что герой не понимает своего назначения и начинает

его ломать. До какого-то времени он ему соответствует, и все у него получается. Он приписывает это собственным заслугам и полагает, будто и дальше все будет в его силах. Тут-то он и разбивает себе голову, начиная совершать один за другим чудовищно бессмысленные поступки. Как Сталин, который до какого-то времени был нужен и оттого успешен, а потом впал в безумие и умер в собственной моче. Таким образом ему было сказано: «Ты хотел весьма многого, но так и не понял того, что должен был понять еще семинарист Джугашвили».

Но к Сталину я вернусь, если позволите, а Распутин — именно случай такого трагического расхождения с самого начала. По природе своей он сектант, типичный персонаж Достоевского и вместе с тем герой Серебряного века, когда хлыстов вполне серьезно путали с Христом. Они и сами называли себя Христами, но к христианству имели довольно касательное отношение. То, что Распутин был из хлыстов или, во всяком случае, находился под их сильным влиянием, — для меня несомненно; на базе их учения он построил, в сущности, собственную секту, но по малограмотности не знал, что основатель секты почти всегда плохо кончает. Учение его по дневникам и другим свидетельствам реконструируется достаточно полно: святость в оболочке греха, поиски Бога через полное и безоглядное падение. Строго говоря, наиболее исчерпывающее изложение распутинской веры дано у Блока, в известном стихотворении «Грешить бесстыдно, беспробудно, счет потерять грехам и дням — и с головой, от хмеля трудной, пройти стороной в Божий храм». Перечитайте его — и все станет ясно. Это

жизнь в повседневном грехе, в блуде, который (по собственным словам Распутина) «утончает нервы»; вспомните, что и Некрасов, прежде чем садиться за крупную вещь, три ночи кряду играл — говорил, что это способ «размотать нервы».

— *И Фолкнер перед большой прозой уходил в запой...*

— Ну да, да, потому что после этого наступает момент раскаяния, возвращения к норме, и в такие минуты Распутину казалось, что после бездны падения он лучше, чище понимает Бога. Наступает момент особого просветления, покаянных слез — в общем, как говорится, «не согрешишь — не покаешься». Он непрерывно вступал в диалог с дьяволом, то уступал ему, то побарывал его, и лично мне всего понятней и, если угодно, симпатичней тот Распутин (у меня есть этот эпизод), который приходит к Сазонову и в слезах говорит: «Дьявол я, дьявол»... В общем, это была такая духовная практика, совершенно в духе времени, и отношение его к ней было самое серьезное; просто обстоятельства так сложились, что, начав вербовать членов своей секты среди сибирских крестьян и в особенности крестьянок, он впоследствии их набирал в петербургских салонах: история востребовала героя наверх, употребила и вышвырнула.

А собственно историческая миссия его была довольно мрачна — уничтожить остатки почтения к династии. То, чего не смогли сделать пули и бомбы нескольких поколений террористов, осуществил один мужик в течение десяти лет. Тут срабатывает жестокий исторический закон, наши представления об этике на историю вообще проецируются с тру-

дом. Династия сильно тормозила развитие России, династию надо было убрать, и происходило это в три этапа. Обратите внимание — революционная ситуация складывалась в России не в первый и не во второй раз, при Александре Втором она была не менее отчетлива, чем в пятом или семнадцатом году. Говорят, он ее разрядил реформами, отменой крепостничества, — дудки: разрядил бы — не убили бы. Единственный русский царь, убитый со времен Петра Третьего! И однако — династия устояла, преемственность сохранилась, а революция отсрочилась. Далее, после пятнадцатилетнего царствования Александра Третьего, который Россию просто заморозил, ни одной ее проблемы не решив, — на престол попадает человек, который эту династию сохранить не мог. Николай Второй. Я описываю в «Распутине» знаковый для меня эпизод — когда Александр Третий вызывает к себе министра Рихтера и спрашивает: долго ли еще простоит Россия, по его мнению? Рихтер честно отвечает: мы все ходим вокруг бурлящего котла, котел закрыт, но в нем то тут, то там образуются трещины, вырываются струйки пара... Все мы ставим заклепки, но скоро не справимся. И Александр — с крепкими вообще-то нервами человек — даже не заплакал, а завыл в ответ — знаете ли, почему? Да потому что он знал, кто придет ему на смену. Николай — герой по-настоящему трагический, и именно с него начинается трилогия, потому что он, как ни ужасно это звучит, — случай идеального совпадения миссии и характера. Его миссия была — завершить династию, и для этого он гениально годился. Обратите внимание на его мученическую смерть: даже в ней

есть логика, ужасная историческая логика, потому что, если бы не отречение и не страшная кончина, последний Романов остался бы в истории полным ничтожеством. Весь масштаб этой фигуры обеспечен его — и его семьи — гибелью, причем боюсь, что для этого одной его казни было бы недостаточно. И в результате большевики совершают чудовищное по своей жестокости убийство, даже по меркам гражданской войны исключительное: то-то они даже в собственных разговорах скрывали его подробности. Это какое-то необъяснимое зверство, и только таким зверством могло быть уравновешено двадцатилетнее правление Николая — самого непопулярного царя в российской истории; только такой ценой он мог быть канонизирован, а гибель династии обрела черты величия. Вот какие критерии у этого Режиссера, прошу заметить!

Вторым условием устранения Романовых могла стать полная потеря уважения к ним. И для их дискредитации был призван Распутин, который в другое время стал бы создателем одного из хлыстовских «кораблей», или крупным бродячим проповедником, или основателем большой секты, который в конечном итоге все равно дошел бы до катастрофы вроде самосожжения, с жертвами, с большой кровью, — он был запрограммирован на это. А третьим условием стала война. И тут тоже все обстояло мистическим образом: всем казалось, что повоюем немножко и перестанем. Ну какая тут могла быть война? Дядя Вилли, любимый Ники... Они же все, в сущности, были одна большая семья — все европейские монархи. Европа соскучилась по войне, истомилась в декадансе, хочется героизма и не-

большого кровопускания; они не понимают, что начать войну стократно проще, чем ее остановить. В действие вступают какие-то не совсем понятные силы. Попробовали крови — все, дальше пошла другая логика. Первая мировая развязала кровь. И эти три условия решили дело.

— *А как же Ленин, субъективные предпосылки?*

— Ленин и Сталин — особая тема, ею я занимался во второй книге трилогии. Ленин искренне полагал, что несет России небывалую свободу, и личная его драма заключается в том, что, придя к власти, он обречен закрепощать страну все больше и больше, постоянно прибегать к террору, а светлое царство свободы все никак не наступает! Этого противоречия он не в силах был решить: до сих пор все получалось (потому что оседлал волну), а тут пошло совершенно не так, и некого за себя оставить! История вновь оказывается сильнее его и сажает на престол Сталина, которого Ленин в последний год усиленно от него отталкивал. А дальше, в соответствии с логикой российского развития, Сталин реконструирует империю (причем буквально, с точностью до деталей, до золотых погон) — и радикально модернизирует ее. Трудно представить, чтобы такие гигантские преобразования могли быть осуществлены в неавторитарной России. За десять лет он вытаскивает страну в число индустриальных сверхдержав. Естественно, такое невероятное напряжение могло быть достигнуто только ценой постоянно нагнетаемого страха, подготовкой к войне (я согласен с Суворовым и полагаю, что он собирался начать первым, — об этом есть в книге). Причем для меня несомненно, что одной войной он ограничивать-

ся не собирался — предполагалась третья мировая, к которой серьезно готовились. Но тут, как всегда в случаях расхождения с миссией, начинается безумие. Воистину, кого Бог хочет наказать, того он лишает разума, — правы французы. Он вытаптывает вокруг себя все пространство, начинается параноидальная мания преследования, и в результате он, парализованный (а возможно, отравленный), целый день беспомощно лежит у себя на даче, и никто не решается к нему подойти. Это ему наглядно и убедительно поясняют, что он захотел слишком многого.

А вслед за Сталиным приходят личности куда меньшего масштаба — я называю их чингизидами. Тиран вытаптывает вокруг себя пространство, удаляя потенциальных конкурентов, то есть всех маломальски значимых людей. И тогда на смену ему приходят потомки, подонки, тонкошееие вожди — начинают править уцелевшие. Среди них, кстати, случаются вполне симпатичные люди, но мелкие, глуповатые. Вследствие чего и начинается ностальгия по тирании: в начале девяностых, когда тема Сталина казалась закрытой, а разоблачения — даже избыточными, я предсказал, что героем следующей предвыборной кампании будет именно Сталин. Что и произошло: на всех демонстрациях в поддержку Зюганова несли сталинские портреты.

— *Продолжать свою летопись вы не собираетесь?*

— Чингизиды — тоже забавная тема. Я даже думаю, что о них можно бы написать, но вообще моя миссия историка, кажется, выполнена. Я выполнил свой долг перед отцом, перед собой — дальше буду писать прозу, большой роман из русской жизни

с середины девятнадцатого века до тридцатых годов двадцатого. Множество вымышленных персонажей и столько же реальных. Герои последнего тридцатилетия, в общем, все могут быть определены какой-то одной чертой, — если хотите, я по ним бегло пройдуся.

Брежнев. Феноменальная по своей абсурдности эпоха: если проследживать корни моего интереса к гротеску, он, конечно, здесь. Я в жизни не видел ничего более гротескного, чем исполнение «Интернационала» в конце партсъезда стандартного брежневского образца. Боже, как это звучало! — неужели они сами не слышали? Поют какие-то толстые, странные люди — «Вставай, проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов!». К кому они обращаются, они что, народ голодный и рабский призывают против себя восстать? Это было гениально... И вот однажды какой-то человек, приближенный к верхам, мне сказал: «Брежнев — великолепный аппаратчик». Я долго не понимал, что, собственно, имеется в виду, о каких вообще успехах можно говорить применительно к его эпохе, пока не пронаблюдал по телевизору награждение Карпова после победы над Корчным. Брежнев, уже с трудом держащийся на ногах и не очень понимающий, что происходит, привинчивает к Карпову орден и вдруг, с какой-то внезапной силой и властью в голосе, произносит: «Взял корону — держи!». Вот тут я понял про него все. Он подлинный аппаратчик, то есть человек, который, даже будучи уже подключен к совершенно другому аппарату, продолжает держать корону. Бессмысленно и беспощадно. Одна, но пламенная страсть.

Горбачев: еще один заложник истории, толком не осознававший своей миссии. Он искренне полагал, что достаточно привести наверх умных и перестать прислушиваться к идиотам, и жизнь наладится сама собой. Естественно, он не предполагал перемен такого масштаба, никак не был ориентирован на крах социализма и вообще, я думаю, растерялся при виде всенародной готовности к нему. Обратите внимание на тончайшую работу истории: Горбачев выдвигается в начале восьмидесятых, когда инстинкт власти у Брежнева уже слабеет. Не то бы он его как человека способного затоптал первым.

Но Горбачев — не царь. Народ видит, что от него уже ничего не зависит. И тут приходит царь, Ельцин — единственная действительно масштабная личность в последние полвека российской истории, единственная личность, способная удержать страну от полного распада и провести ее сквозь переходный этап — со множеством ошибок и неизбежных жертв. Удивляюсь, как никто не проанализировал причину его болезни: конечно, никакие выпивки бы такого не сделали. Проблема в том, что он в чистом виде авторитарий, так складывался, так жил, — но вся его авторитарность была направлена главным образом на себя. И этим непрерывным обузданием он себя и разрушил: царь, способный вот так держать всю страну — и в результате обреченный десять лет вот так держать главным образом себя. Как бы Мерлин, обративший на себя все чары, Горгона, взглянувшая в зеркало.

— *А Путин?*

— О Путине рано говорить. Страхи насчет национализма и террора не обоснованны, потому что

страна уже вовлечена в мировой исторический процесс. О другом говорить пока воздержусь.

— *Но я присматриваюсь к нему — и не обнаруживаю никакой харизмы...*

— Ну и радуйтесь. Харизма — признак тиранства. Он гибок, это видно, и этого пока достаточно.

— *Перейдем к материям более личным: в вашей книжке о Распутине мне померещилась некая внутренняя линия. Вы, по-моему, и писать о нем взялись потому, что углядели сходство; не примите за оскорбление, но о вас тоже все время говорят, будто вы занимаетесь исключительно карьерой и заработком, но выдаете ее при этом за некое мистическое служение...*

— Ну, Распутин вообще такая фигура, что в нем отлично отражаются все, берущиеся о нем судить. С точки зрения авантюриста — он чистый авантюрист без тени религиозного чувства, ловкий спекулянт. С точки зрения фанатика — фанатик своей веры. С точки зрения маньяка — маньяк. Ну и так далее. Я не отрицаю, что вижу в нем что-то... не то чтобы близкое, но временами понятное, я иногда горячо сочувствую ему. Что касается людей, говорящих о моем исключительном стремлении к заработку... вот, из театра я ушел ради денег, о Николае написал ради денег... Ну это смешно на самом деле, и соображения конъюнктуры меня не могли волновать по определению — просто потому, что, когда я осуществил давнюю свою мечту и стал писать об истории, это было совершенно безнадежное дело. Тогда как в театре у меня шло восемь пьес одновременно — беру только Москву, — а в Европе я был, вероятно, самым востребованным россий-

ским драматургом, «Нерон» и «Лунин» исправно шли по всему миру. Вообще деньги и карьера — не очень совместимые вещи, и если хочешь сделать карьеру — не надо к этому особенно стремиться. Надо видеть в любом деле поэзию и эту поэзию, это наслаждение извлекать. Я мог себе это позволить, поскольку материально был вполне обеспечен с двадцати шести лет, когда мои «Сто четыре страницы про любовь» пошли по всей стране в десятках театров. Я проснулся богатым и знаменитым.

Скажу вам больше: с книгой о Николае у меня поначалу не было никаких перспектив. Естественно, меня интересовала российская история двадцатого века, интересовала всю жизнь, в конце восьмидесятых я стал писать о последнем императоре и пообещал книгу «Дружбе народов», а главы из нее стал печатать в «Огоньке». У меня была надежда — довольно наивная, как я теперь понимаю, — оглашением этих фактов способствовать примирению общества. Ни много ни мало. Вот сейчас все увидят, как это было на самом деле, и благотворное потрясение вызовет всероссийский катарсис — заблуждение очень театральное и для драматического писателя прощительное. И я печатаю главы в «Огоньке», и каждая глава вызывает поток писем — сотни, тысячи: где могила Юровского? Помилуйте, отвечаю я, я вовсе не призываю к осквернению могил, я категорически против! Да, да, пишут мне, и все-таки... И не осталось ли потомков? В результате к концу девяностого года я со всей ясностью понимаю, что публикация книги по главам и вообще выход ее по частям не только не служит моей цели, но ведет к прямо противоположным настроениям. Я прихожу в редакцию «Дружбы

народов» и говорю, что забираю у них журнальный вариант. Книга должна выйти только вся и сразу. Главный редактор неожиданно легко соглашается на мое требование (а книга стояла в плане, была анонсирована) и напоследок предупреждает: здесь не театр, где вам все можно. Теперь вам все пути будут закрыты. Я соглашаюсь и дописываю книгу уже без мысли о публикации.

На Западе ею вообще сначала никто не интересовался: моя постоянная переводчица говорит, что уходить из драматургии на пике популярности — это бред, абсурд и она не желает больше иметь со мной дела. Молоденькая переводчица сама обращается ко мне, честно предупреждает, что привлечь серьезное издательство моя книга не может — на Западе об императорской семье вышло больше ста книг, — но наконец одно издательство находится. Оно требует сокращения книги вдвое. Моя переводчица, безумно счастливая, что кто-то вообще согласился, кричит: о да, о да, он все сделает! Я на своем довольно посредственном английском (читаю свободно, говорю так себе) решительно отказываюсь сокращать хоть строчку, и, видимо, что-то такое в этот момент появляется у меня в глазах (я писал книгу десять лет), что издатель говорит: пускай. Я лично выверяю перевод. Книга выходит и держится в списках бестселлеров так долго, что русская диаспора заключает пари: возглавит она топ-десятку на будущей неделе или нет? Пессимисты исправно проигрывают.

Когда я взялся за Сталина, это тоже выглядело достаточно безнадежно — только что вышла книга Волкогонова. Наконец, о Распутине написано больше, чем о Николае и Сталине, вместе взятых. Тем не

менее, и «Сталин», и «Распутин» возглавляли те же списки бестселлеров столь же долго.

— *Но почему? Что там было такого, чего не было больше нигде?*

— Ничего исключительного, кроме очень большого объема новых документов и некоторой высоты взгляда. Меня интересует мистика истории, я отыскиваю в ней драматургические законы. Вероятно, это интереснее сухого протокола...

— *Но это же чревато и некоторыми уступками плохому вкусу, некоторыми чисто театральными эффектами...*

— Да разве я спорю? Театр — это вообще довольно грубое дело. Там со зрителем делают что хотят.

— *«Какими средствами простыми ты надрываешь сердце мне».*

— Если угодно, да.

— *Почему вы все-таки сначала издаете все эти книги на Западе? Ведь теперь есть «Вагриус», он явно готов был бы их напечатать раньше...*

— Нет, русский вариант очень сильно отличается от западного. Строго говоря, на Западе выходит черновик. Только сделав цикл программ, перечитав книгу, выждав полгода, я могу достаточно абстрагироваться от новой работы, убрать все лишнее и дописать все необходимое. Между выходом английского «Распутина», называвшегося «Последнее слово», и публикацией русского варианта прошло девять месяцев. И то, что вы прочли, — абсолютно новый текст.

— *Ну, с сокращениями понятно: наверняка западному читателю приходится разжевывать то, что русскому давно известно...*

— Не скажите. Сегодняшнему русскому читателю известно о родной истории ничуть не больше, чем западному. *Tabula rasa*. Увы и увы.

— *Все-таки можно как-то охарактеризовать писателя и историка Радзинского в самом общем и кратком виде? Что в нем кажется вам определяющим?*

— Исторического писателя Радзинского (я не называю себя историком) интересуют, как уже было сказано, драматургические законы построения истории, ее мистические закономерности и то, как люди губят себя и других, не будучи способны эти закономерности понять. Писателя Радзинского вообще больше всего интересует, как бы сказать, бесконечность человека в обе стороны — в сторону добра и в сторону зла. Незаметность и легкость перехода.

— *То есть можно сказать, что Радзинский — религиозный писатель?*

— Сам о себе я такого не скажу, но если скажете вы, читатель, — соглашусь.

— *Нет ли у вас планов оставить телевидение? Потому что оно добавляет к вашему имиджу, скажем так, не самые приятные черты...*

— Добавляет. Мне было интересно заниматься этими импровизациями (а импровизирую я всегда — никаких дублей, иначе эффект пропадет), но они выматывают. Дело в том, что, как вы могли заметить, я прибегаю к некоторым театральным и временами гипнотическим техникам...

— *Да я, честно говоря, полагал, что вы и в жизни так поете...*

— Ну что вы. Все это — и пение, и высокая лексика, и дикий смех временами — я одну из передач

о Сталине решил сделать целиком комической, почти фарсовой, о смешных и абсурдных сторонах тирании, — все это приемы, простые способы воздействия на зрителя. Многому я научился у Эфроса, он всегда, говоря с актерами, удесятерял эмоцию, чтобы со сцены они донесли хоть одну десятую его чувства. Хочешь прыгнуть в высоту на два метра — примеривайся на три, иначе прыгнешь на один. Такой эмоциональный перебор приводит к тому, что информация врезается в вас, вы уже от нее не избавитесь. Если бы у вас не было диктофона, я бы и вас легко заставил запомнить все дословно. Но после сорока минут такого напряжения я трое суток чувствую себя выжатым лимоном.

— *Выпуская каждую новую книгу или программу, вы должны быть готовы и к ругани — за неточности, за упомянутые театральные эффекты, за сочетание серьезной исторической работы с абсолютным балаганом...*

— Знаете, у меня в восьмидесятые годы случилось небольшое сердечное недомогание. Нашли мне чудо-профессора, старичка, врача одной из московских военных академий: приехал крошечный старик, ровно половину роста которого составляли орденские планки. Я предложил ему меня выслушать. «Что вы, шпион, чтобы я вас прослушивал? Хороший врач по лицу все видит». Он что-то посоветовал, ничего серьезного, по счастью, не нашел, но рассказал очень много интересного — в частности, о Булгакове, которого тоже консультировал. Так вот: Булгаков никогда на сердце не жаловался и умер от болезни почек, но когда его вскрыли — сердце оказалось все в рубцах. Он перенес несколько

инфарктов, и все от того, что чрезвычайно близко к сердцу принимал свою литературную судьбу с ее беспрерывными катастрофами, разносами, снятием пьес с репертуара... У него был специальный альбом, куда он подшивал отрицательные рецензии, чтобы потом с каким-то болезненным сладострастием их перечитывать. Я никогда не читал отрицательных рецензий — не потому, что так берегу здоровье, но потому, что это неинтересно. Я читаю только то, что будоражит мысль, дает новые идеи, — статьи, в которых меня ругают, написаны не очень изобретательно. Если бы заказали мне, я бы разнес себя гораздо остроумнее.

А насчет неточностей... тут тоже смешно. Видите ли, я все-таки заканчивал историко-архивный, знаю всякие штуки. Например, когда впервые публикую документ, ставлю так называемых «собак», то есть допускаю несколько намеренных неточностей, как бы описок, чтобы при републикации сразу знать — с моей книги перепечатывают или с оригинала. Просто, но безотказно. Так вот: большинство людей, критикующих меня за отступления от истины, пользуются моими публикациями. Записку Юровского, например, все так и продолжают перепечатывать с «Огонька».

Я не люблю афишировать свои труды, усилия, поиски — эта почти детективная часть работы по большей части остается за кадром. Но смею вас уверить, мои списки литературы, приводимые в конце каждой книги, — примерно четверть того, чем я в действительности пользовался. Не умею я читать абзацами, ускоренно, — на каждый том уходило бы втрое больше времени. Я в день могу прочесть пять

книг. Это, кстати, еще одна причина, по которой я почти не читаю того, что пишут обо мне. Для пишущего человека такая трата времени — роскошь непростительная.

— *А пьес вы, по всей вероятности, больше писать не будете?*

— Отчего ж, вот сейчас напишу по заказу Табакова историческую пьесу. Диалоги Шатобриана, Бомарше и маркиза де Сада.

— *Однако! «Правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?»*

— Знаете, похоже на то. Очень уж вовремя умерли двое персонажей его биографии... Впрочем, подождите спектакля.

Вообще, я бы написал несколько пьес — просто чтобы продемонстрировать свое представление о том, как должна выглядеть современная пьеса. Подозреваю, что это представление довольно адекватное. Например, пьеса восьмидесятых годов — это по преимуществу монолог, монолог человека, сидящего на горшке и говорящего о вечном. Много, ярко говорит о прекрасном... но с горшка не слезает.

А сегодняшняя пьеса на современную тему — это своего рода сценическая версия телефонной книги. Что-то в духе Ионеско. Может быть, еще напишу... всем покажу... ха-ха.

— *Вы практически ничего не рассказываете о своей семье.*

— И правильно делаю. Очень хорошо в этом деле понимал Сталин: избегал, например, ходить на футбол. Пусть Каганович ходит, а полубогам это не нужно. Личная жизнь вождя должна быть за семью печатями. Писателю тоже не худо усваивать эти

уроки — он все-таки должен выглядеть существом особенным. Да, у меня есть жена. Она молода и прелестна. Люблю ее. Больше ничего не скажу.

— *А дети? Сталин вовсе не прятал Светлану...*

— Да, обратите внимание, что ее и звали Светланой — светлое дитя вождя, любимица нации! Но я все-таки не совсем Сталин. Про детей ничего не скажу, темная завеса.

— *К вопросу о женщинах вашей жизни: мне представляется, что вас всю жизнь интересовал один достаточно истеричный, сложный тип, с запросами и надрывами — он есть и в «Ста четырех страниц», и в моей любимой пьесе «Она в отсутствии любви и смерти», самой большой вашей драматической удаче, по-моему...*

— Ну что вы. В «Ста четырех страниц» героиня довольно точно калькирована с князя Мышкина, только переодета в женское платье. Это как раз тип идеальной женщины, ничего не требующей, всем жертвующей, — почти святость. Иное дело «Она в отсутствии» — о, это страшная девочка. Нервная, дерганая. Никогда не знает, чего хочет. Женщина времен распада империи, сочетающая в себе надрыв, вамп, жажду подвига... Я когда ее писал, был семьдесят восьмой...

— *Я думал, семьдесят второй...*

— Ну да, вам это должно казаться одинаково давно. Но это был конец семидесятых, и я сам не понимал, откуда эта девочка взялась. Никто эту пьесу ставить не хотел. Однажды в театре, которого не буду называть, одна молодая актриса во время обсуждения вскочила и закричала: да что вы ИМ объясняете, вы же это про НАС написали! Я загорелся

и стал требовать, чтобы эту роль играла именно она. Выяснилось, конечно, что никто ей главную роль не даст — она стоит на лестнице в массовке «Нерона и Сенеки»...

В общем, это было такое предчувствие дерганой рок-эпохи, я думаю. Не скажу, чтобы я любил этот женский тип. Я этих девочек жалею, могу любоваться, но ближе мне другое.

— *Что вы умеете делать по хозяйству?*

— Заварить чай, порезать сыр — видите, все свои нехитрые умения я вам продемонстрировал. Гипноз, сыр, чай.

2001

Эльдар Рязанов

По-моему, Рязанов снял двадцать четыре хорошие картины и одну великую. Великая — «Андерсен», последняя на данный момент. Я понимаю, насколько эта работа уязвима, но понимаю и то, что цели своей она добивается, пусть и прибегая к болевым и грубоватым приемам.

— Черт, как я вам завидую!

— *Отчего, Эльдар Александрович?*

— Вы едите мороженое. Я его люблю больше всего на свете.

— *Ну так давайте возьмем! Это же «Эльдар», вы тут хозяин...*

— Во-первых, не хозяин, а директор муниципального предприятия. Этот киноклуб — не моя собственность, просто я его придумал. Мы устраиваем здесь недорогие сеансы и вечера — зато для настоящей интеллигенции. В буфете у меня действительно скидка, но мороженое я себе запретил давно — в смысле здоровья оно малополезно.

— *Ну хотите, я отвернусь?!*

— Ешьте, я не завистливый.

— *У вас в фильме сам Бог признается, что любит сладкое...*

— В сценарии этот персонаж Вячеслава Тихонова называется «Человек с добрым лицом». Я не уверен,

что он Бог. Тихонов давно отказывается от работы, здесь его уговорила дочь, прочитав сценарий. Он все сомневался, не будет ли насмешки над Богом: человек верующий, относится к теме серьезно. Убедился, что насмешки нет. А почему Бог любит сладкое... Видите ли, мне кажется, что у Бога действительно доброе лицо. Он сентиментален, я думаю. Должен любить сказки. Злого или равнодушного Бога представлять себе не хочу.

— *Как вышло, что вы тридцать лет собирались снять кино про Андерсена и решились только сейчас?*

— Та, первая, заявка была не совсем про Андерсена. Там была история про то, как сказки воспитывают нацию, как андерсеновское милосердие растворилось в ее крови. Мы с Брагинским хотели делать фильм из двух частей: в первой — трудная биография неловкого и неудачливого Андерсена, во второй — удивительная легенда о датском короле Христиане X, спасшем всех евреев во время гитлеровской оккупации. Собственно, это действительно легенда — о том, что король вышел на прогулку с желтой звездой, нашитой на костюм. Этого не было, насколько я знаю. Было иначе: он знал, что датские рыбаки собираются всех местных евреев перевезти в нейтральную Швецию. Об этом донесли гауляйтеру Дании, но король сказал, что ничего подобного не предполагается: он их, так сказать, прикрыл. Сумели вывезти почти всех — только 500 человек остались. Их отправили в концлагерь. Так король лично следил за судьбой каждого, поименно, и Дания — единственная страна Европы, в которой за время гитлеровской оккупации не погиб ни один еврей! Я стал спрашивать себя: почему? И решил:

потому, что у них был Андерсен, сентиментальный, чудаковатый Андерсен, внушивший им такие понятия о ценности каждой отдельной жизни. Прошло лет тридцать, я помнил об этом замысле, но смутно. И тут Путин приглашает нас с Ульяновым — нам исполнилось по 75 лет. И спрашивает меня: «Какие творческие планы?»

Грех сказать, у меня на тот момент никаких творческих планов не было. Я только что доснял «Ключ от спальни» и собирался вообще с кино завязывать: 24 картины — это, честное слово, много. Но меньше всего мне хотелось предстать перед президентом в качестве человека, у которого нет планов, и я вспомнил «Андерсена».

— *А он что?*

— Он сказал, что может получиться полезная картина. И спросил, сколько она может стоить.

— *А вы что?*

— Я назвал взятую с потолка серьезную сумму, потому что предполагал сперва совместный проект. Он задумался, а потом сказал: «Мы вам поможем». Фильм стоил, кстати, меньше четверти первоначально названных денег.

— *И помог?*

— Я сперва отнесся к этому как к обычному разговору, который нас обоих ни к чему не обязывал. Но потом на меня насел мой продюсер (у нас есть маленькая кинокомпания «Гулливёр») и убедил меня вспомнить про это президентское обещание. В результате я стал писать сценарий с Ираклием Квирикадзе, чья голова — кладезь удивительных сюжетов, почерпнутых большей частью из грузинского детства; я даже боялся, что он и Андерсе-

на сделает таким... слегка абреком... К счастью, мы быстро друг к другу приноровились.

— *Из-за этого склада сюжетов вы и сделали его сторожем дурдома?*

— Минуточку, не сторожем дурдома, а святым Петром, впускающим Андерсена в рай! Что поделывать — мне кажется, что Квирикадзе похож на святого Петра.

— *А Путин посмотрел картину?*

— Посмотрел Владимир Кожин, управляющий делами президента. Ему понравилось, а передал ли он копию дальше, не знаю. В любом случае Путин — один из отцов постановки...

— *Так что все претензии, как обычно, к нему.*

— Нет, ко мне. Насчет претензий — они для меня стали уже привычкой и даже, как ни странно, показателем удачи. Есть некий люфт — в среднем года два — между картиной и ее настоящим успехом. Я до сих пор помню, скажем, как выходил «Берегись автомобиля» — в шестьдесят шестом, вдобавок в июле, в самое неудачное время, когда его и не посмотрели толком. Прошло несколько разносных рецензий — и все, и я взялся за следующую картину. А через три года выяснилось, что это почти классика.

— *Ну а «Бедный гусар» после первого показа лежал пять лет.*

— Потому что в восемьдесят пятом началась перестройка, и его тут же выпустили. С «Гусаром» вышло забавно: его ведь никто не запрещал. На полку не клал. Показали один раз — и все, никаких повторов, никакой прессы, словно и не было такого фильма. Мы с Гориным ходили в разные кабинеты и предла-

гали разные поправки. Например, они нам говорят: «Ну, у вас там публичный дом...» Хорошо, мы перемонтируем, уберем публичный дом. Потом им еще что-то не нравилось на уровне реплик, мы еще что-то соглашались убрать, а картина себе лежала: они делали вид, что исправляют, а мы — что соглашаемся. Хотя и им, и нам было ясно, что камень преткновения совершенно не в публичном доме и не в каких-то остротах, а в том, что это фильм про тайную спецслужбу, отравляющую людям жизнь. И все, и никаких других причин.

— *Как же вы сами себе объясняете бессмертие этой службы?! Смотрите, ведь и в новой картине у вас цензор пережил Андерсена...*

— Да, пережил, это мы нарочно сделали. Хотя формально, само собой, он не мог быть на его похоронах, поскольку старше... Там выпало несколько хороших эпизодов, они останутся в телеверсии — она длиннее почти на час и выйдет месяца через три после окончания проката. Понимаете, я действительно не могу ответить на вопрос о феноменальной живучести этой службы, которая следит за порядком в мыслях, за внутренним врагом и прочая. Ведь она была всегда. Первое ее, так сказать, государственное оформление — опричнина, но я убежден, что она была и до опричнины. Помните «Слово и дело государево!» — клич, который кричали, когда собирались донести? И доносили, и это государственно поощрялось! От советской власти осталось очень немного, с водой выплеснули множество детей, но эта служба уцелела и расцвела пышней прежнего, хотя казалось... много чего казалось. Наверное, это потому, что она у нас как-то в генах, в России это

какая-то бессмертная сущность. При этом все про нее все понимают. И терпят. Какой-то самоистребительный инстинкт.

— *Я так понимаю, что тема ксенофобии для вас сегодня особенно важна, почему в «Андерсена» и попал тот давно придуманный эпизод с захватом Дании.*

— Ксенофобия — это главная сегодня опасность, и евреи тут далеко не единственные жертвы. Просто так получилось, что в биографии Андерсена действительно есть две опорные точки, которые с этой темой связаны, — почему и выстраивается, что ли, силовая дуга: в четырнадцать лет он действительно видел еврейский погром, и бежал со всеми, и бросал камни. Этот грех слияния с толпой он всегда помнил. А последние пятнадцать лет — видите, какая симметрия — он прожил в семье Морица Мельхиора, еврея. Сам он был, несмотря на всю состоятельность, бездомным, не имел угла, не завел гнезда и называл себя приживалом по призванию. Мельхиоры заменили ему семью. В принципе же дело не в евреях, конечно, хотя лозунг «Бей жидов, спасай Данию!» я и вписал в погромный эпизод... Это могут быть грузины. Могут быть абхазы. Армяне, азербайджанцы, кто угодно. А для многих — русские, в республиках это было... Страшнее этого инстинкта — поисков чужака — действительно ничего нет, потому что логикой он не побеждается. Тут уж в чистом виде зверство толпы. И я пытался показать, как это бывает, — пусть с андерсеновской жестокой сентиментальностью, потому что у нас в картине громят именно игрушечную лавку. На самом деле ничего подобного не было. Но быть могло — я настаиваю на достоверности всех своих допущений.

— *В том числе и на том, что Андерсен был невиновен?*

— Ну, это общепризнанный факт его биографии. Это одна из главных претензий Бога к нему: дурак ты, Андерсен, я как мужчина тебя не одобряю.

— *Но он проводил ночи с Йенни Линдт...*

— За чашкой чая. Йенни была святоша, что, может быть, и неплохо. В фильме она, конечно, по-свободней себя ведет — в реальности она была недотрога, тратила на благотворительность треть всех доходов от своих американских гастролей (уверяю вас, это были серьезные деньги), не имела любовников, была верна мужу-пианисту...

— *Я одного не понимаю: как вы, абсолютно нормальный человек... то есть нормальный в хорошем смысле...*

— Можете не извиняться, я не обижаюсь на это определение. Я считаю себя в самом деле абсолютно нормальным человеком. Может, потому, что я не гений.

— *Но как вы могли так понять ненормального? Ведь всякий большой художник по определению немало ку-ку...*

— Это придумали люди, чтобы не прислушиваться к большим художникам. На самом деле они очень часто говорят вещи верные и неприятные, и, чтобы не обращать на это внимания, изобрели миф, что они ку-ку. Удобно, да? На самом деле в огромном большинстве случаев эта ненормальность — хорошо продуманная маска: либо для самозащиты, чтобы в случае чего сослаться на собственное юродство и спастись от всякого рода обвинений, либо для саморекламы. Не любит человек откровенничать —

и нацепляет маску, тоже бывает. Но уверяю вас, в душе художник трезвее самых трезвых.

— *Но какие-то чудачества и патологии у вас обязаны быть?!*

— Например, я полный дебил в технике. С трудом ориентируюсь в кнопках мобильного телефона. Никогда не чинил никаких приборов — все способности в этом смысле на уровне вкручивания лампочки. Но у меня есть оправдание: я заканчивал школу в военные годы, физику всегда преподавали мужчины, все они были на фронте. Я просто не учился этому.

— *Но все комбинированные съемки у вас всегда очень чисто продуманы — вспомните летающий паровоз из «Небес обетованных»...*

— Исключительная заслуга мосфильмовских умельцев. Этот паровоз перед вами, в клубе «Эльдар», на макете. От него требовалось только крутить колесами и светить фарами. Все остальное — дальние крыши, линию горизонта и летящих за ним собак — досняли отдельно и хитрым образом совместили. Не знаю, сколько это стоило бы на Западе, но у нас вся картина была снята на медные деньги.

— *Я гляжу, у вас образовалась замечательная когорта молодых единомышленников, с которой вы делаете третью картину подряд...*

— Да. Вместо старых, которые стали так жестоко меня бросать, появились замечательная Алена Бабенко, разная во всех ролях и не страдающая никакой звездностью; Сергей Маковецкий и Сергей Безруков, молодой Станислав Рядинский, Алексей Рыбников, в «Карнавальная ночи-2» — молодой сценарист Сергей Плотов...

— *Как вы его нашли?*

— В отчаянии, когда надо было буквально за неделю писать сценарий и в сентябре приступить к съемкам. Я лежал в поликлинике под пиявками, лечил позвоночник — и поскольку поликлиника рядом с Домом актера, решил заглянуть к Маргарите Эскиной. У них там бывают замечательные капустники. Я попросил список ребят, которые для нее пишут. Трех оттуда я знал и отмел сразу же. Из остальных решил выбирать буквально методом тыка — ткнул пальцем, закрыв глаза, и попал в Сергея Плотова. Позвонил ему. Полчаса пришлось его убеждать, что это не розыгрыш. Сценарий написали быстро и с удовольствием. Я вообще довольно легко снял «Карнавальную ночь-2», в ДК Московского электролампового завода, — у телесъемки свои преимущества: видеозапись, четыре камеры... Нам было весело, как будет зрителю — посмотрим.

— *И что вы можете сказать об этих молодых артистах, на которых катят столько бочек?*

— В большинстве своем это замечательные люди, у которых одна проблема: они торопятся все и сразу. Успеть в неделю на пять съемок одновременно, пока можно, построить дачу и заснять ее для «Семи дней»... Я легко вижу по их мимике, как они, приехав на площадку, восстанавливают происходящее: «Так, где я? Москва или Ленинград? Кто меня снимает? Что за картина? Кого играю?» — и все вспомнив за полминуты, приступают к работе. Я их не виню: такое время досталось.

— *Позвольте вам не поверить насчет ухода из профессии...*

— Да я и сам не уверен. Я после каждой картины испытываю сильнейший соблазн больше ничего не снимать — а потом приходит идея. Главное, чтобы она не повторяла предыдущие. Мне неинтересно делать то, что я уже умею. Если сейчас сумею придумать то, чего не делал еще никогда, — наверное, опять не удержусь.

— *Главное, не слушайте тех, кто упрекнет вас в сентиментальности...*

— В этом, а также в сказочности, нереальности и утешительстве меня упрекали всю жизнь. Лично я не вижу в этом ничего дурного. На свете нет ничего по-настоящему важного, кроме милосердия, и напоминать о нем в сказках — занятие вполне достойное. Бог тоже любит сказки и любит сладкое. И не стыдится этого, я думаю.

2007

Борис Стругацкий

Ценность этого интервью — не только в точных констатациях и сбывшихся предсказаниях Бориса Стругацкого, но и в том, что это один из немногих разговоров, записанных «вживую». Обычно БНС предпочитает получать вопросы по Интернету и лаконично на них отвечать. Здесь же перед читателем живой разговор, имевший быть в Петербурге, на конгрессе «Странник» 1997 года.

— *Борис Натанович, я сейчас перечел семилетней давности статью замечательного специалиста по отечественной фантастике Сергея Переслегина. Он пишет: да, Сумгаит, Баку, Прибалтика... но хотим мы того или нет, на наших глазах рождается новый мир, мир, живущий в системе подлинных ценностей! Ну и где эти подлинные ценности семь лет спустя, хочу я спросить?*

— А чем вы, собственно, недовольны? Вы живете в НОВОМ мире... Что касается истинных ценностей, то ведь истина проверяется годами. Это потомки наши разберутся, что было подлинным, что — ложным. Наши представления о мире существуют на уровне предложений, а критерия нам знать не дано. Вот для меня, например, существует истина: есть надо, чтобы работать. А не «работать, чтобы есть». Через два-три десятилетия, возможно,

станет понятно, так ли это. Пока же это дело вашего личного выбора. И такая ситуация мне нравится гораздо больше, когда вы живете не в мире подлинных ценностей, а в мире, где вам наконец дано свободно выбирать ценности, которые вам нравятся. И платить за это, разумеется. Вам впервые ничто не навязано, вы выбираете собственную жизнь со всеми последствиями такого выбора. Это и есть рожденная в муках новая реальность, а вовсе не тот мир, в котором все плюсы поменялись на минусы.

— *В свое время революцией в жанре стал, по-моему, «За миллиард лет до конца света»...*

— Не знаю насчет революции, но это одна из любимых вещей самих Братьев Стругацких.

— *Так вот: революционной, по-моему, была сюжетная схема. Раньше один герой боролся с другим или одна галактика с другой. В «Миллиарде» сюжет разомкнулся: герои борются с мирозданием, с безликой силой, которую искать бесполезно. Вам не кажется, что новая фантастика пойдет именно по такому пути?*

— В «Миллиарде» дело не в этом. В «Миллиарде», собственно говоря, нет вопроса, как бороться с тем-то и тем-то. Мы решали для себя другой вопрос: как жить, когда победить противника заведомо невозможно? Когда вне зависимости от твоего выбора результат предрешен?

— *И как вы оцениваете сегодня выбор Вечеровского из «Миллиарда», его одинокое и бесполезное противостояние?*

— Очень положительно оцениваю. Но Вечеровский — герой, а героев всегда мало. Может быть, один процент. А Малянов, я думаю, сдастся.

Это не преступление, это трагедия его, мне вообще очень близок этот герой. Мы никогда не скрывали, что Малянов в значительной степени списан с меня. Так же, как Феликс Сорокин — с Аркадия Натановича.

— *Вы никогда больше не будете публиковать прозу под собственным именем?*

— Писателя Братья Стругацкие больше нет. Есть писатель С.Витицкий: все наши псевдонимы начинались с инициала «С».

— *Ваш последний роман оказался не так-то прост — мы до сих пор спорим, отчего погибает герой.*

— Романа действительно почти никто не понял, потому что старик Витицкий по своей вечной не любви к разъяснениям и подсказкам сжег, видимо, слишком много мостиков между главами — и, боясь переговорить, недоговорил. Если вы помните, в романе действует персонаж по кличке Виконт, спасти которого от странных сердечных приступов может только главный герой, Стас Красногоров. И вот этот-то Стас замечает, что судьба его непостижимым образом хранит: во время блокады выручает из лап людоеда, после войны достает из проруби... Ни покончить с собой, ни нарваться на драку, в которой его убьют, Красногорову не дано. И он начинает думать, что это его собственная особенность, что у него есть какое-то особое предназначение, что судьба за него мстит... Мне не было нужды разрабатывать эту схему: в последнем произведении Аркадия Натановича — в «Дьяволе среди людей» — уже реализован этот сюжет, проходивший у нас под кодовым названием «Несчастный мститель». Случай Красногорова иной: он не по-

нял своего предназначения. Он думал, что добьется власти и облагодетельствует мир, а на самом деле он был нужен только затем, чтобы поддерживать жизнь в Виконте. Который тоже собирался спасти мир, построив совсем другую, не красногоровскую утопию: она обозначена в романе как «колбаса из человечины». Модель жестокого, единообразного, благоденствующего общества.

Герой думает, что рука судьбы ведет его к чему-то высокому и важному, а он — мельчайшая пешка в огромной машине... Сам Виконт — тоже всего лишь орудие. Но он-то как раз свое предназначение сознает и под него подстраивается. А Красногоров понял наконец, чему бессознательно служил все эти годы, и воспротивился. И тут же погиб, потому что к этому моменту Виконт уже научился обходиться без него: там, если вы помните, наштамповали целое помещение двойников Стаса. Так что «Поиск предназначения» близок скорее не к «Дьяволу среди людей», а к «Миллиарду». Только там герой противостоит мирозданию, а здесь — утробным законам эволюции.

— *Вечный вопрос, который задают все читатели романа: что это за белая фигура бросилась под машину Красногорова в последней части?*

— Один наш друг очень остроумно заметил, что это должен быть Виконт. А на самом деле какая разница, что это за фигура? Просто автор хотел изобразить мир, в котором на дорогу из тумана поминутно выбегают белые фигуры и бросаются под колеса... Мир, в котором много чего возможно, но на самом деле никакого нагнетания ужасов там нет. Нормальная жизнь. Наша.

— *И вам она нравится?*

— Она много лучше той, что была двадцать лет назад, но это не значит, что она меня устраивает.

— *Но вам уютно в ней?*

— Кто сказал, что человеку в мире должно быть уютно?!

— *Как вы относитесь к столь расплодившимся нынче фэнтези — героическим сказкам для взрослых?*

— Мне это неинтересно. Как неинтересна всякая литература, не имеющая отношения к жизни.

— *Сегодня в большой моде «кислотная культура» — рейверская, наркотическая, бездумная, пассивная. Вам не кажется, что осуществилась «Флора» из «Отягощенных злом»?*

— Культурой я бы это не назвал, но не удивлюсь, если достаточно широкие массы наших сограждан будут охвачены этим фловеровским образом мыслей и жизни. Мы выбрали «Флору» как раз как явление, которое нам несимпатично, но с которым мы не имеем права сражаться насмерть. «Флора» живет, по-моему, совсем не так, как должен жить человек. Нам нравился деятельный герой. Мы специально выбрали для «Отягощенных» как раз таких людей, не особенно приятных, совершенно безобидных... и из каких же соображений их надо гнать раскаленной метлой? Это неправильно. Так нельзя. Человек проверяется именно на том, как он относится к беспощадному, бесчеловечному уничтожению неприятного ему явления.

— *Нечто подобное, по-моему, имеет место в «Жуке», когда читатель вместе с вами протестует против гибели Льва Абалкина. Абалкин ведь довольно отталкивающий тип...*

— Почему же? Это вы потянули не за ту ниточку в романе, их там много, таких петелек... Абалкин — совершенно нормальный человек. Он гибнет абсолютно ни за что.

— *Лично я так и не знаю, как Абалкин ушел из-под наблюдения. Как бежал с Саракша. Не убил ли наблюдателя.*

— Ну так что ж, у вас есть простор для домысла. Многие, кстати, догадались. Никого он не убивал, конечно! Дело в том, что Братья Стругацкие написали этот эпизод, но потом они так устали от своего романа, что решительно не знали, куда его вставить. Мы собирались написать эпилог, в котором подхватили бы и свели воедино все одиннадцать ниточек, которые там остались висячими, необъясненными... Но подумали: пусть читатель знает ровно столько, сколько герой. На самом деле там произошло вот что: Тристан, наблюдатель, подвергся нападению «синих пограничников», охраняющих пределы Океанской империи. Они его отравили, он валялся в джунглях и умирал, и тогда его подобрала морские имперцы. Потащили, естественно, в тайную канцелярию. Стали пытаться. Он ничего не соображает. И тогда ему вкололи «сыворотку правды» — сыворотку, после инъекции которой человек начинает говорить о самом главном для себя, соврать не может. Он говорит что-то на непонятном языке. Послали за Абалкиным. И Абалкин услышал русскую речь — этот человек говорил действительно о самом для него важном, о задании, которое ему дали на Земле: «Всем, кто меня слышит! Немедленно свяжитесь с КОМКОНОм-2! Нельзя допустить возвращения Льва Абалкина на Землю! Всем, кто меня

слышит!» — и так далее. Он услышал это и полетел на Землю, потому что понял: все эти годы тайная полиция — КОМКОН — заставляла его жить чужой жизнью. Как бы чего не вышло.

— *А вам не обидна эволюция Максима Каммерера? В «Обитаемом острове» — такой классный, а в «Жуке» и «Волнах» — почти убийца?*

— Если ты волею судеб попадаешь в распоряжение тайной полиции, ты эволюционируешь именно так. Любой человек, соглашавшийся сотрудничать с тайной полицией, — а в случае Каммерера, на Саракше, это получилось даже невольно, — рано или поздно кончал этим, вне зависимости от того, насколько хорош был сам по себе.

— *В финале «Далекой Радуги», которую лично я люблю больше всего из написанного вами, Горбовский должен погибнуть вместе со всей планетой. А потом как ни в чем не бывало появляется снова. Значит ли это, что Радугу спасли?*

— Выходит, что так. У нас в архиве хранится письмо ученика четвертого класса Славы Рыбакова* «Зачем вы убили всех людей на Радуге? Не лучше ли закончить так: “Но тут в небе раздался страшный гром, зажглась ослепительная звезда и появился звездолет «Стрела»”...» Когда сочинялась «Далекая Радуга», — а эта вещь, и любая наша вещь, писалась как последняя, — мы имели в виду именно вариант, который довел до слез десятилетнего Славу Рыбакова: такой счастливый апокалипсис. Все знают, что через полчаса погибнут, и при этом

* Ныне один из самых известных питерских фантастов, вместе с Б.Стругацким написавший сценарий «Писем мертвого человека». — Д.Б.

сидят на пляже, играют на фортепиано, поют, неторопливо беседуют о самом главном и интересном... А потом нам опять понадобился Горбовский — для трилогии, для первого варианта «Улитки»... И мы решили, что их спасли.

— *Мне кажется, что Братья Стругацкие начались с «Попытки к бегству»...*

— Согласен с вами. Это была переломная вещь. Кроме того, на ней Братья Стругацкие впервые поняли, что объяснять читателю все — вовсе необязательно. Как узник концлагеря Саул попал в двадцать второй век? А важно ли это?

— *Вы и сегодня вместе с Саулом думаете, что историю переломить нельзя, что машины так и будут двигаться по шоссе?*

— А как же! Конечно, согласен. И Кандид в «Улитке» прекрасно это понимает: бороться с мертвяками бесполезно, деревни обречены, прогресс так бесчеловечно устроен... А все-таки Кандид берет скальпель и идет на работа, а Саул расстреливает поток машин. Надо вести себя так, как ты считаешь правильным, вне зависимости от результата.

— *А согласны вы сейчас с жестокой фразой Саула — «С эсэсовцами так нельзя, мальчики»? То есть нельзя добром?*

— Абсолютно согласен. В мире есть такие силы, с которыми можно бороться только их методами. Прекраснодушные рассуждения тут не спасают. Нам всегда был симпатичен герой вроде Андрея Воронина из «Града обреченного»: способный действовать, и действовать жестко.

— *Как вы относитесь сегодня к идее прогрессорства?*

— Прогрессоры и на Земле считаются людьми второго сорта, людьми жестокой профессии. К ним относятся без восторга, но все понимают, что без них нельзя обходиться. Они нужны, и если человечество когда-нибудь достигнет такого уровня развития, что полетит к другим планетам, прогрессорство возникнет обязательно. Это такая же неизбежная вещь, как миссионерство. Хотя во времена распада Рима кто-то вряд ли подумал бы, что какие-то люди понесут варварам идеи Христа, и будут ими за это сжигаемы, но все равно будут проповедовать свое учение... Совершенно неважно, как относиться к прогрессорам. Важно, что они все равно появятся и понесут свою правду.

— *Сейчас вышел сборник «Время учеников», в котором ваши младшие коллеги продолжают ваши тексты. В предисловии к сборнику вы упомянули о последнем замысле Стругацких — о четвертом романе, в котором должен был действовать Каммерер. Почему вы не хотите его писать?*

— Этот роман должен был поставить некую логическую точку в цикле о прогрессорах, КОМКОНе и Каммерере. Там Максим попадал в мир, построенный по дантовскому образцу: первый, внешний круг — ад, подонки общества, его отбросы. Второй круг — чистилище: люди так себе, просто люди, вроде нас с вами. И третий круг — рай, свободные и веселые творческие люди, общающиеся и творящие беспрепятственно. В финале Каммерер должен был одному из обитателей этого рая рассказать о Земле, где борются за каждую душу, никого не ссылают в страшный внешний мир... «Да, — говорил бы его собеседник, — изящная идея, но совер-

шенно невыполнимая. Ваш мир кто-то выдумал». И это было бы своего рода приговором тому миру, в котором живет Каммерер, — или нет? Не знаю. С.Витицкому в одиночку писать этот роман не хочется.

— *Но разве собеседник Каммерера не прав? Разве наш, земной мир не строится в конечном итоге по тому же принципу: каждый попадает в свою среду, подонки — к подонкам, творцы — к творцам... за редкими исключениями?*

— Нет, что вы! Это очень искусственная организация общества. К сожалению или к счастью, на Земле нет ничего подобного. Было только в Британской империи, когда сын провинившегося папаши или владелец провинившейся компании отправлялся не в тюрьму, а в Индию или в Конго, в колонии, и там жил и работал... в меру своей испорченности... А Британия таким образом очищалась. Этот опыт оказался не особенно удачен.

— *Не могу не спросить про Рэдрика Шухарта, о котором спорили, кажется, больше всего. Это один из любимых ваших героев. Неужели он вам симпатичен, когда посылает мальчика на смерть только затем, чтобы самому потом попросить: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»?*

— Писатели пишут не только о том, что им нравится, но и о том, что естественно вытекает из логики сюжета, персонажа... Наш Шухарт не мог поступить иначе. Чтобы спасти жену и дочь, он должен был послать в мясорубку мальчика, который ему безразличен... и даже скорее безразличен со знаком минус, потому что он сын Стервятника. Мы ведь тоже имели дело с данностями, не менее беспощад-

ными, чем эволюция, прогресс, мироздание: героя не заставишь действовать вопреки его логике.

— *Чего можно в ближайшее время ждать от С.Витицкого?*

— Пишет, корячится... Второй роман ему писать еще труднее, чем первый. Всю жизнь мы пилили двуручной пилой громадное бревно. И вот я остался один. Но, может быть, старик и заставит себя вернуться к той странице, на которой он застрял в мае прошлого года.

— *А Стругацкие так и писали, как Сорокин в «Хромой судьбе», — зажигали везде свет, накопили вкусной еды?..*

— Че-го? Это он не пишет, это он перечитывать собирается свою «Синюю папку». Мы, кстати, сначала хотели засунуть в эту папку «Град», но целиком он не влезал, а вырывать главу стало жалко, и тогда мы поместили туда «Лебедей», которые вступили с текстом «Хромой судьбы» в очень интересные отношения. Нам вообще казалось, что это продуктивно — сводить в одном тексте два разных, слабо соотнесенных, — возникают третьи смыслы, дается толчок сюжету и мысли... А писали Братья Стругацкие без всякой вкусной еды и дополнительного света: один сидит за машинкой, другой сидит рядом, или бродит по комнате, или лежит на диване. И — по словечку. Придумывать ходы и персонажей мы могли поврозь, работать — только вместе.

— *Борис Натанович! Интервью кусает собственный хвост: я не могу вас под занавес не спросить — то ли это время, которого вы ждали?*

— Мы выросли в одних условиях, а продолжаем жить в других. Мы жили в подвале, а тут выстав-

лены на свежий воздух, но — на холодный: дует ветер, поземка метет... Мы сидели в теплом, вонючем болоте, приятного мало, а теперь вылезли на холод — тоже сомнительное удовольствие. Но зато воздух — свежий, и его можно есть огромными кусками! Россия попросту свернула на ту дорогу, с которой ее восемьдесят лет назад искусственно загнали в леса. Будут и новые идеи, и новые люди, и новые сюжеты, — все войдет в колею. А если вдруг и не войдет — мы уже понимаем, что жить надо по-человечески, помогает это прогрессу или нет.

1997

Виктория Токарева

Токарева пишет короткими точными фразами. Она формулирует то, о чем читатель смутно догадывался, и то, в чем боялся себе признаваться. С ней особенно хорошо говорить в смутные и переходные времена, когда вокруг, в клейком киселе, плавают недооформившиеся, но грозные сущности. По части угадывания и названия вещей своими именами у нее мало конкурентов. При этом она спокойна и доброжелательна, что редкость.

— *Я недавно пересмотрел ваше с Даниила «Мимино», показывая его сыну. Ему очень понравилось, но он честно признался — «Я не понимаю, про что это». И я не знаю, как ему объяснить.*

— Очень просто. Сколько ему лет?

— *Девять.*

— Скажите ему: хорошо не там, где тебе хорошо, а там, где ты нужен. Не в Мюнхене, где все к твоим услугам, а в Телави, где ты к услугам всех. Не торопись убегать на улицу, где тебе хорошо, останься с папой и мамой, которым без тебя плохо. Вот и все.

— *Вот вы работаете в кино, вас и сейчас много ставят, и заканчивали вы ВГИК — это хорошая школа для прозаика?*

— Плохая.

— *Но короткая фраза, диалог, быстрый сюжет...*

— Диалог я умела писать всегда. Только его, остальное было плохо. Меня просто не взяли в Литинститут. Известный писатель, чью фамилию я до сих пор помню, написал на моей рукописи: «Идите домой, работайте над собой, может быть, когда-нибудь из вас что-нибудь получится». Я устроена так, что расцветаю от комплиментов, вырастаю над собой и немедленно могу сделать что-то на порядок выше своего обычного уровня. А от ругани или даже от пренебрежительно выраженной правды становлюсь неспособна и к тому, что легко могу сама. Во ВГИКе мной впервые восхитились. Это произошло не сразу: мой мастер, коммунист-романтик Катерина Виноградская, сценарист «Обломка империи» и «Члена правительства», выделяла из всего курса одну девушку — суровую, мужеподобную, работавшую с мужиками на рыболовных промыслах, ходившую там в сапогах и ватнике и в Москве сохранявшую те же повадки. От меня ждать было нечего: я не знала жизни и имела музыкальное образование. А потом я показала Виноградской «День без вранья», свой первый опубликованный рассказ. И она меня полюбила. А когда меня любят, я могу все.

Кино прозаику вредно одним: оно сбивает нюх. В кино все держится на железных причинно-следственных связях, в сценарии одно с необходимостью вытекает из другого, и вся эта конструкция груба, наглядна, обнажена, чтобы зритель понимал, что к чему. А в жизни все устроено по более тонким, менее наглядным законам, и приходится прятать логику рассказа, чтобы конструкция его

была неочевидна. Но кинематографические нравы лучше литературных: литераторы живут изолированно и подлаивают друг на друга из своих подворотен, а кино живет табором, коллективом, обожает выезжать в экспедиции, общаться, заводить романы... Производственные нравы лучше кустарных, одиноких. Но я как раз никогда не любила ездить в экспедиции. Я люблю засыпать в своей постели и жить в своем доме.

— *Как вы умудрились написать «День без вранья» — рассказ, в котором уже виден почерк? Где, так сказать, период ученичества?*

— Период ученичества в виде двух больших спортивных сумок с рукописями я сожгла на участке только недавно. Там все, что написано с пятнадцати лет до двадцати пяти. Видеть это никому не нужно. Чтобы слушатель не отвлекался на твои огрехи, а слушал «Экспромт-фантазию» Шопена, нужна беглость руки. Я ее разработала.

— *А сейчас можете сыграть «Экспромт-фантазию»?*

— Я и в двадцать играла ее плохо.

— *Я перечитываю то, что вы писали в семидесятые или восьмидесятые, и вижу огромное разнообразие профессий: одна героиня преподает в художественной школе, другая — кристаллограф, третья — портниха, у четвертой любовник — шофер, пятый герой — строитель. Куда все это делось сейчас? Профессия вообще перестала быть значимой характеристикой героя.*

— Это любопытное наблюдение, и я, кажется, могу объяснить, в чем дело. Сейчас остались две профессии — богатые и бедные. Профессия богатых — то, на чем они поднялись, — уже не принци-

пиальна, потому что с какого-то момента они перестают заниматься конкретными вещами (тем же строительством или сырьем) и начинают заниматься деньгами или устройством мироздания. Профессия бедных не принципиальна тоже: они получают так мало, что все их силы уходят не на профессиональное совершенствование, а на выживание. Любить свое дело при таком скудном пайке тоже затруднительно, это удастся только фанатикам и героям. В результате то, чем ты занимаешься, становится только источником средств — довольно жалких и унижений — довольно сильных. Есть еще люди среднего достатка, но профессии, дающие средний достаток, редко требуют участия души — это профессии офисные, безэмоциональные. Главные бури переместились из профессиональной жизни в личную. Расслоение породило расколы, начались трагедии. В сорок лет, разбогатевав, мужчины меняют жен и подбирают новых, к новому материальному положению. Это бедствие стало повальным, такие истории происходят сплошь и рядом, и тут надо что-то придумать.

— *Что тут можно придумать? Это было всегда.*

— Все, что было всегда, рано или поздно разрешалось: от неизлечимой болезни находят средство, социальный конфликт смягчают, на Луну, казавшуюся недостижимой, прилуняются... Видимо, в обществе, которое так сильно расслоено, в котором процент состоятельных и состоявшихся очень невелик, а бедных и бесхозных очень много, надо вырабатывать механизмы дележки. Богатые должны делиться. Тут все согласны. Но то же самое, кажется, надо учиться переносить и на семью, как

бы непривычно это ни звучало. Можно покупать любовнице квартиру, проводить там четные дни, а дома — нечетные. Но из семьи не уходить, потому что это похоже на убийство. На моих глазах было множество трагедий вроде той, что описана в «Лавине», и я заметила одно их последствие — может быть, самое страшное. Уходя из семьи, мужчина подсекает детей, чаще всего сыновей. Он наносит сыну какую-то не сразу различимую, но тем более ужасную травму, дырявит карму, сказали бы местные эзотерики. Были случаи, когда ребенок — годы спустя — просто погибал, или не находил себя, или спивался. Видимо, надо учиться жить на несколько домов. Пусть все догадываются, но делают вид. В конце концов, лучше делать вид и выживать, чем сказать правду и все обрушить.

— *Я всем сейчас задаю мучительный для меня вопрос: вот говорят о стабилизации и укреплении, но жить становится не лучше, а тошнее. Чем вы это объясняете?*

— Стабилизировать и укреплять — сильные глаголы, требующие после себя зависимого слова. Стабилизация и укрепление — чего? У нас произошла стабилизация бесчеловечности и укрепление цинизма, он действительно очень укрепился, я не помню ничего подобного в семидесятые годы. У моей подруги оперировали мужа — ставили ему стенты, расширители сосудов. Врач сказал, что достаточно одного стента, но понадобился второй. Ставить его бесплатно никто не обязан. Врач вышел к ней и сказал, чтобы она принесла квитанцию — тогда поставят. Сберкасса внизу. И она побежала в эту сберкассу, трясясь, и принесла ему квитанцию. Я не

знаю — может, они поставили бы его и без денег... Но думаю, что не поставили бы. И то, что женщину, у которой муж на операционном столе, погнали доплачивать за стент, — это самая наглядная картинка того, что происходит сейчас. Это и есть прагматизм, о котором столько говорится. Страна, в которой не осталось других стимулов жить и работать, кроме бабок и статуса, обязательно будет захвачена другой страной. Просто поглощена. Потому что защищать ее будет никому.

— *А у кого сейчас есть идеализм? Только у радикального ислама?*

— Радикальный ислам никого не захватит и не поглотит, потому что все взорванные ими самолеты будут падать им на голову. Террор — всегда самоубийство, и они сами это понимают. Всех аккуратно и медленно поработит Китай. Я только что оттуда приехала. Они очень много работают, умеренно едят и хорошо выглядят. Мужчина в семьдесят выглядит на тридцать.

— *Знаете, а я наблюдал китайцев в Сибири — и вижу, что Россия их абсорбирует очень быстро. Они сразу женятся на наших, потом начинают пить, потом — давать взятки, а скоро перестают работать с той интенсивностью. То есть русификация идет быстро.*

— Это можно сделать не со всеми. Есть люди традиции, с крепким стержнем. Это очень видно по гастарбайтерам, которые едут сюда. У меня про них новая повесть — «Одна из многих». Не нужно тешить себя надеждами, что они сопьются, разложатся и погрознут. Если страна утратит все свои правила, кроме упомянутого стабилизированного прагма-

тизма, — люди традиции, умеющие работать, помнящие про ценности семьи, не позволяющие себе халтурить, рано или поздно составят серьезную конкуренцию местному населению. Традиция — вещь сильная: в советской Грузии, скажем, тоже много пили, хитрили и воровали. Но это советское разложение затрагивало всех по-разному. Грузия ведь не монолитна. Скажем, в ней были сваны. Сваны работали и помнили традицию. Согласно ей, например, каждый сван должен быть похоронен дома. На этом был построен сюжет вторых «Джентльменов удачи», которых мы с Данелия собирались написать, но потом передумали, потому что сиквел всегда слабей. А Крамаров так просил это сочинить, что обещал бесплатно доставать все лекарства, когда состаримся. У него были связи. Там была история про то, как у Доцента — настоящего Доцента, вора — мама-Раневская, которой он страшно боится. А сюжет сводился к тому, что всей троице — Крамарову, Вицину и Мурадову — поручается доставить из Сибири в Сванетию умершего там свана. Они, естественно, жульничают и вместо него привозят украденный из школы скелет. А у скелета все позвонки пронумерованы. Мы очень смеялись, сочиняя все это, но потом переключились на другие идеи.

— *Это правда, что, сочиняя «Джентльменов», вы с Данелия хохотали на весь Дом творчества?*

— Отчетливо помню, как после реплики «Кто его посадит? Он же памятник!» мы смотрим друг на друга в упор и действительно громко смеемся. Данелия — человек с колоссальным запасом ума и таланта, но все эти россыпи глубоко внутри, как рубины у часов. Я, может быть, часы не на пятнад-

цати, а на пяти таких рубинах. Но рубины те же самые, поэтому я умела писать сценарии, на которых он мог продемонстрировать собственные сокровища. Задача сценариста — не самореализовываться. Его дело — написать так, чтобы полностью реализовался режиссер. Это труднее.

— *У вас был рассказ «Лошади с крыльями» — мой любимый, — где, если помните, женщина с нелюбимым мужем едет на зимнюю прогулку. Думает всю дорогу о прекрасном любовнике. Они подвозят старичка-ясновидящего, а он говорит: «Через сорок минут у вас в машине будет тело». Телом оказывается кабанчик, которого везет другая попутчица в мешке. Но читателю-то понятно, что убийство все равно происходит, это героиня в себе задавила любовь и вернулась к обычной жизни...*

— Очень вы хорошо рассказываете, сразу все понятно.

— *Не подкалывайте, я серьезно спросить хочу. Она правильно сделала, Наташа-то?*

— «Летай иль ползай, конец известен». Я видела множество женщин, которые задавили в себе любовь, бездарно состарились и всю жизнь расплачивались за упущенную возможность. И еще видела множество женщин, которые ее не задавили, ушли к любимому, бездарно состарились и всю жизнь расплачивались за возможность неупущенную. Кончается все примерно одинаково. Я никогда не даю советов — и что самое странное, ко мне за ними и не обращаются. Множество женщин звонят мне, чтобы я описала их истории (большей частью одинаковые, многожды описанные мной и другими), но никто не спрашивает — как поступить. Видимо, я не произвожу впечатление человека, способно-

го научить жизни. Меня это радует. Зато меня учат много и охотно, до сих пор.

— *Вы живете большую часть года в поселке, в Пахре, — русскому писателю действительно нужно имение?*

— Во всяком случае русскому писателю трудно жить в пластиковом доме, особенно летом. Здесь я все время занята: возжусь с участком, ращу гриб... У меня растет белый гриб около дома, я каждое утро слежу за его приростом.

— *Кто из пишущих женщин вам нравится?*

— Петрушевская. Улицкая. Говорят, что умирает рассказ, — но жанр умереть не может (кто его посадит — он же памятник!), вымирают читатели, способные заметить и оценить ударные точки этого рассказа. Те, для кого стоит разбрасывать по нему все эти метки. Я недавно позвонила Улицкой и перечислила ей то, что мне в ее новом рассказе больше всего понравилось, и она сказала: «Ничего не пропало». Читатель, у которого ничего не пропадает, стал редок. Была еще одна хорошая писательница, у которой, пока случалось много романов на стороне, были замечательные ранние вещи. Но потом она вышла замуж, произошла стабилизация и укрепление, и началась скучная дневниковая проза — без того мучительного стыда, который делал ее лучшие рассказы. Если писатель полюбил себя, пиши пропало.

А из мужчин лучше всех пишет Алексей Иванов. Человек умеет строить фразу. Одна его фраза запомнилась мне особенно. Он в интервью сказал, что лучшее чувство юмора — у Токаревой. Я полюбила его сразу и навсегда.

Эдуард Успенский

Узнавши, что я еду на интервью к Успенскому, дочь уцепилась следом. Всю дорогу она вспоминала:

— Слушай! А «Собирала на разбой бабушка пирата» — это ведь он?

— Кажется, да.

— А «Осьминожки»?

— Ну.

— А «Пластилиновая ворона»? А «Гарантийные человечки»? Сколько ему лет вообще?

Нормальный человек столько всего сделать не может. Именно поэтому принято считать, что Успенский ненормальный человек, тяжелый и нервный. Или, как это еще иногда называют, непредсказуемый.

— Мне так и сказали, представляете: есть мнение, что Успенский непредсказуемый. Это когда шли переговоры про возобновление на каком-нибудь канале программы «В нашу гавань заходили корабли». У нее всегда был один из лучших рейтингов — на НТВ, потом на ТВС. И люди по ней скучают, вон во Франкфурте русские немцы нас с Элеонорой Филиной все время спрашивали: «Но вы понимаете, что вы нам нужны?!» Мы-то понимаем... А еще на одном канале мне сказали: «Ваша аудитория — это пятьдесят плюс. То есть люди

старше пятидесяти. А рекламодатели на такую аудиторию рассчитывать не хотят». Значит, все, кому за пятьдесят, могут уже как бы и не жить — с точки зрения рекламодателя. Поэтому я сейчас даже не буду вам говорить, на каком канале мы теперь выйдем... если выйдем вообще. Такие все стали непредсказуемые — прямо как я.

— *Когда вам проще было придумывать сказки — при застое или теперь?*

— Ну это же не вопрос времени, понимаете? Не от социальных вещей это зависит. Это вопрос возраста, опыта. Сейчас я быстрее пишу гораздо, у меня просто из пальцев сыплется. Я что-то умею, в конце концов. Я книжек начитался умных, Гарри вот Поттера прочел и тоже чему-то выучился...

— *Вам нравится?*

— Отличная вещь в смысле творческой смелости. Остер ругает, говорит — ерунда. Ничего не ерунда, первые две повести вообще отличные. Так что теперь я быстро пишу и примерно знаю, как надо. А в тридцать лет я ничего не знал, «Троих из Простоквашино» писал четыре года. Правда, первый вариант — черновой — за месяц сочинил, мне пришлось его импровизировать устно. Я работал в пионерлагере библиотекарем.

— *Господи, с какой стати?!*

— А с той, что надо было семью на дачу вывезти, дом снять... Две книжки у меня к тому времени вышло, а денег не было. Вообще. Я устроился тогда в лагерь библиотекарем и что-то этим детям рассказывал. Им нравилось, они просили еще. И если они хорошо себя вели, то меня к ним звали что-то рассказать на ночь. Говорили: «Эдуард

Николаевич, — нет, тогда еще Эдик, — они сегодня в тихий час не шумели и во время уборки все окурки подобрали, расскажите им, пожалуйста, сказку!». Я стал придумывать современную сказку про мальчика в заброшенной деревне. И потом бесконечно ее переписывал. Это всего-навсего третья книжка моя. А писатель начинается где-то с четвертой, когда у него опыт есть.

— *Но Чебурашка-то уже существовал, верно?*

— Чебурашка был вообще первый мой придуманный персонаж, я отчетливо помню, как это было. Я вообще тогда только начал писать для детей, хотя всегда у меня почему-то было подспудное такое убеждение, что заниматься этим я буду. Даже в авиационном институте я это знал.

— *А я слышал, что вы с лирических стихов начинали, очень серьезных. Но их не печатал никто, и вам пришлось бежать в детскую литературу.*

— Да нет, они просто были плохие. Ну откуда я мог тогда взять хорошие стихи? Надо читать много, воспитывать себя как-то... А я довольно легкомысленный был человек, я стал сочинять рассказы всякие и частушки для «Доброго утра» и для эстрадных исполнителей. Первая книжка у нас вышла коллективная — Арканов, Горин, Камов и я. У Камова, он же Феликс Кандель, он же Филипп Кан, я и учился главным образом. Он теперь очень серьезный, живет в Израиле, пишет труды богословские... Фантастической работоспособности был человек и меня приучил. Весь день — восемь часов — на работе пашешь, инженером. Потом домой приходишь и до полуночи смешное пишешь. Утром опять на завод, и так го-

дами. А потом стали получаться детские стихи, но я им значения не придавал, потому что все мои серьезные знакомые говорили: «Какие-то у тебя считалки». Кира Смирнова, исполнявшая всякие песенки под гитару, в том числе и на мои стихи, познакомила меня со своим мужем Заходером, большим авторитетом в детской поэзии и тогда уже переводчиком «Винни-Пуха». У него такая манера была стихи смотреть — стремительная: пробежал листочек, отложил... «Еще есть?» — «Есть, но эти похуже». — «Давайте все». Просмотрел. «Задатки есть». Тут же поменял с ходу пару строчек, что-то предложил переделать: «Работайте». Год спустя сказал: «Первый раз вижу, чтобы человек за год так вырос». А с «Доброго утра» звонить все равно продолжали: нет ли юмористического рассказика? Нет, говорю, я теперь детское пишу. Ну, давай детское. Стали они брать эти стихи и читать. Так я стал известным детским поэтом, не выпустив ни одной книжки. Мне такая перемена в статусе очень понравилась, потому что юмористические рассказы они резали по-страшному, перестраховывались и выхолащивали. А детские стихи никаких подозрений не вызывали... до какого-то момента. Пока не появились Гена с Чебурашкой.

— *А что, они тоже вызывали нарекания?*

— А как же! Что это за метод поиска друзей — по объявлению?! Друзей надо искать в трудовом коллективе!

Я, честно говоря, сам удивился, когда придумал эту историю. И до сих пор удивляюсь, когда придумаю что-то новое. Даже когда опыта наберешься и начинаешь что-то рассчитывать, соображаешь,

как писать, — все равно непонятно, откуда герой берется. Есть приемы — типа если не получается какой-то кусок, надо его пропустить и писать следующую главу. Но вот выдумать персонажа... У меня была неизвестно откуда явившаяся фраза про крокодила, которого звали Гена и который работал в зоопарке крокодилом. Почему крокодил? Животное для России какое-то странное. Ну, значит, и имя будет у него не самое распространенное — Геннадий. А не, скажем, Василий или Анатолий. Раз он крокодил, то среди отечественной фауны он бесконечно одинок. Но он же должен о ком-то заботиться, крокодил. А кто к нему добровольно придет в гости? Только очень печальное и такое же одинокое существо. Вот из этого предположения уже получился Чебурашка, а первым толчком к его изобретению был текст, который я писал для научпопа. Я подрабатывал тогда сочинением текстов к фильмам. Там был кадр — хамелеон висит на грозди бананов, он на ней заснул и приехал с бананами в Россию. Я написал: «Этот хамелеон прибыл к нам зайцем». То есть в уме я уже держал такую возможность — существо приехало в ящике с тропическими фруктами. А внешность этого существа придумалась — сто раз уже рассказывал — при виде очень маленькой, четырехлетней толстой девочки в огромной, непомерно длинной шубе пушистой. Она шла в этой шубе, наступала на нее и чебурахалась все время.

— *А уши почему?*

— Вот это уже не знаю. Ну, вероятно, он же должен падать — а почему? Уши большие, перевешивают... Это была действительно не очень обычная

сказка по тем временам. Стройка коллективная, друзья по объявлению, много несказочных реалий каких-то, типа милиции... Хорошо, что иллюстрировать ее дали художнику Алфеевскому. Это, может быть, и не лучший художник тех времен, но очень известный. И он сказал: я, говорит, в иллюстрациях все это дело смягчу. И смягчил, спасибо.

— *Но разве в сегодняшнем мире можно было бы придумать доброго и трогательного персонажа вроде этих ваших крокодила с Чебурашкой? Ведь и детям наверняка не так уютно теперь, как при застое...*

— Ну, про меня и про детей — это два разных вопроса. Во-первых, и в наше время можно про Гену с Чебурашкой писать совершенно спокойно. Написал же я «Бизнес крокодила Гены»...

— *И вас самого не коробит это сочетание — Гена и бизнес?*

— Да ни в какой степени! Вы читали книжку?

— *Кусками. Она где-то в журнале публиковалась.*

— Да, точно. И что, плохо?

— *Почему, смешно...*

— Вот именно! Бизнес — это же вообще смешно! А то вы рассуждаете, как финский писатель.

— *Почему?*

— А когда началась вся эта перестройка, я издательство сделал — «Самовар». Стали выпускать смешные учебники всякие. Остер, допустим, именно там начал сочинять свои забавные задачки по математике. Правда, издал потом в другом месте. Сам я написал по электротехнике, поскольку это все-таки моя специальность. Я же инженер и до сих пор проводку способен починить. Потом стал думать, кому заказать бизнес. Никто же не знает

ничего — ни «что такое кредитная карта», ни «как правильно выбрать банк»... Я финских писателей сначала попросил. А они говорят — не можем, это грязное дело! Я тогда голландских. А они оказались даже слишком бизнесмены. Говорят, у нас на это слишком много времени уйдет и мы недостаточно денег заработаем. Ладно, думаю, придется самому. Была у меня знакомая, ныне владелица сети книжных магазинов в Бостоне. Стала она мне присылать детские книжки про бизнес, а я все это вплеел в историю. Как лежал Гена, лежал десять лет у бассейна, а потом понял, что надо зарабатывать. Шапокляк ему рассказывает, как хранить деньги в банке и куда эту банку прятать. А сам он хочет вложить деньги в произведения искусства и купить, допустим, недорогого Гогена. Гена хочет Гогена. Узнаёт, сколько это стоит, и отпадает от телефона. Ну нормальная же история!

А если спрашивать о детях, в какую эпоху им комфортнее... Детям комфортно всегда! Вот мы с Лерой идем недавно гулять и встречаем Приставкина. Вот, Лера, говорю я, какой человек замечательный, такое детство трудное, вообще... Сам был в приюте, брата убили, рос среди какой-то шпаны... А Приставкин говорит: все равно бывало очень весело. И не считает он свое детство трагическим. И в «Тучке золотой» у него первая часть очень смешная. Да собственное мое детство, вообще говоря, было не ахти обеспеченное: отец болел чахоткой. Все деньги уходили на лечение, на всякое там барсучье сало... Никакой роскоши, естественно. И Москва послевоенная. А строили тогда медленно, и на стройках этих, в котлованах, образовывались пруды. Успевали за-

вестись тритоны, лягушки, караси... Жутко же интересно! А я еще помню, как Москва начинала застраиваться по окраинам, как с территории нынешнего Кутузовского проспекта переносили кладбища, расположенные в Дорогомилове. Русское, потом еврейское... Ох, красивые, богатые были кладбища, какие памятники! И какие ходили легенды — вот, разрыли могилу, нашли парчу, другому рабочему повезло — нашел дорогое кольцо... Это все передавалось в компаниях и становилось бродячим сюжетом, страшилкой.

— *Вы, кстати, не можете объяснить причину этого детского интереса к смерти? К страшилкам вообще?*

— Не могу. Я же детский писатель, а это к психологам вопрос. Может, они просто не понимают ничего, поэтому не боятся, как бы играют в это. Взрослому человеку страшно думать о смерти, а им еще почти смешно. Это же очень смешные все истории, и дети прекрасно это понимают. Ну вот, например: я устраиваю иногда концерты, встречи с детьми. Прошу поднять руки, кто знает историю про зеленую пластинку. Знаете ее? Это страшно живучий сюжет, равно известный и под Москвой, и на Дальнем Востоке. Поднимаются руки, я приглашаю ребенка на сцену. Он начинает рассказывать: мама запретила одной девочке слушать зеленую пластинку. А девочка все равно ее поставила, и пластинка запела: «Ползут, ползут по стенке зеленые глаза, они тебя погубят, да-да-да». Я, когда писал потом свою повесть по мотивам страшилок — про красную руку, знаете ее? — я все думал: как зеленые глаза могут погубить? Надо думать,

они гипнотизируют... Ну, короче, на следующий день мама пришла с работы без ноги и сказала: «Зачем ты слушала зеленую пластинку?» А девочка опять не удержалась и ее поставила. Тогда мама на следующий день пришла без ног. Как, спрашиваю я ребенка, как она пришла-то? Без ног-то? Он не знает. Ну, девочка такая была упрямая, что опять послушала пластинку. Пришла мама без одной руки, а девочка — опять слушает. Тогда, говорит ребенок и делает страшные глаза, — тогда мама пришла без рук, без ног...

«Ага, — говорю я. — И сказала девочке: здравствуй, я колобок!»

— *А дети что?*

— Смеются, конечно. И правильно делают. Смех со страхом, как известно, одной природы, и потребность в них очень сильна — этим страшилкам много лет уже, они разных периодов, мы с Андреем Усачевым собрали дореволюционные, революционные, нэповские (например, про девочку с черным ногтем, который потом в пирожке нашли, — тогда тема людоедства была очень актуальна)... Послевоенные есть истории дивной красоты, какого-то сюрреалистического свойства. Сидит военный с девушкой в ресторане: это тогда очень частая была картина. Она в роскошном белом платье. Он пролил ей на это белое платье красное вино. А на следующий день звонит ей — и слышит в ответ, что она давно умерла. Он не поверил, ему показали могилу. Раскопали могилу — а в ней она в белом платье и от красного вина красное пятно. Роскошь, да? Песни западных славян!

— *А я еще знаю про желтые шторы.*

— Это тоже старая, отличная история. Наверное, тогда такие ужасные шторы выпускали, что они могли только задушить...

— *Говорят, детские писатели в большинстве своем терпеть не могут детей.*

— Да они разные все, детские писатели. Среди них есть такие, которые сами совсем дети. Вот Эмма Мошковская — даже интонации у нее были детские, совершенно как в ее стихах. А Заходер — этот был взрослый человек и детей не очень жаловал, вообще серьезную свою лирику уважал гораздо больше и терпеть не мог слова «стишки». Оно ему казалось невыносимо пренебрежительным. Что касается меня лично... ну, не меня же об этом спрашивать? Вообще я всегда с детьми мог договориться. Когда на дачу выезжали, они сразу начинали вокруг меня бегать, потому что я знал места, где клюет, умел наживку правильную сделать, умел находить какие-то старые окопы... Эти вещи их всегда волнуют очень.

— *Но вам не кажется, что они все-таки хуже взрослых? Цинизма какого-то в них больше, что ли, сдерживающих центров нет, остановиться они не умеют, не жалеют никого... Даже термин есть — «детская жестокость».*

— Да ну, бред. Любой ребенок гораздо лучше взрослого. Он портиться начинает лет в девять — школа его портит, как правило. А в семь-восемь лет ребенок — ангел, даже самый развязный и непослушный. Вот тоже во времена, когда мы еще дачу снимали, у нас все время вертелся один мальчик, для которого не существовало понятия «нельзя».

И понятия «чужое» для него тоже не существовало. Он видит яблоко — и берет без спроса. Но я его не прогонял, говорил: пусть остальные дети видят, как выглядят плохие манеры. А потом однажды мы поехали с ним на рыбалку и застряли. Грязь, дождь, лес, а он не пикнул, не пожаловался, всячески помогал и вообще вел себя героем. И вся внешняя развязность тут же соскочила с него. А я узнал потом, что он из актерской семьи, там просто принято было так себя вести — якобы без комплексов...

— *Так, может, лучше без школы вообще? Если она портит?*

— Вот Лера своего младшего сына из школы забрала, он экстерном сдает. Он в школе тупеет, ей кажется. Это кому как лучше. В начальной школе я крепко получал, потому что был страшный задира. Вот так полезешь к кому-нибудь, а потом все разъедутся на лето, вернутся вдвое выросшие и потолстевшие, а ты так и остаешься мелкий. Я всегда был мелкий. Подходит к тебе такой бугай и говорит: а чего ты меня задира? И, соответственно, ты получаешь по первое число. Но зато в старших классах меня очень любили, и класс у нас был отличный. Я был лучший математик в школе, на олимпиады ездил и грамоты привозил. Тут же вообще не поймешь — какой опыт однозначно полезный, а какой вредный. Может, необязательно, чтобы тебя всегда любили. Иногда надо, чтобы не любили, — тогда будешь сопротивляться, когда вырастешь, не так просто будет тебя гнуть...

— *Интересно, а за что вас так любит Михалков? Так страстно, я бы сказал?*

— Потому что я лучше пишу для детей, наверное. Это была такая парочка — Михалков и Алексин, они травили все, что им не нравилось. И если Михалков в каком-то докладе мог сказать, что еще в детской литературе работает какой-то Успенский, что-то пишет, — Алексин ему сцену устраивал: как ты мог, зачем, они же нас теперь сожрут! Мы всегда для них были — «они», и граница определялась не по национальному, не по классовому и даже не по идейному принципу, а просто... «они» талантливые, а «мы» — нет. Сейчас очень модно стало вспоминать, сколько Михалков сделал добра. Помог кому-то. А я читаю с наслаждением книжку Рассадина «Самоубийцы» и узнаю из нее, сколько раз Михалков не помог. Отказал. Поучаствовал в травле. Какие стихи писал про Пастернака — про злак, который зовется Пастернак. Как исключал Солженицына. Ну и так далее — чего счета сводить? И благоденствует. Именно из-за его орденов и премий я не хочу ни одной государственной награды. Не надо мне этого. В советское время отказался и сейчас, когда Табаков предложил меня выдвинуть, сказал: спасибо, не хочу.

— *А Путин мог бы быть сказочным персонажем? Если да, то каким?*

— Путин? Ну, внешне он очень похож на Гурви́нека. Знаете, чешская кукла такая, би-ба-бо. Но чтобы в сказку его вставить... нет. Он же совершенно пластмассовый. А я предпочитаю живых героев.

— *Вы написали недавно, что Щекочихин, по вашему мнению, убит. Я знаю, что вы дружили. А какие у вас причины так думать?*

— Самые очевидные. Щекочихин занимался делом «Трех китов», а это дело связано с торгов-

лей оружием и наркотиками, и в качестве крыши выступают фээсбэшники. И генпрокуратура, насколько можно судить, получила гигантскую взятку. Следователь Зайцев, который это дело раскрывал, по ложному обвинению оказался в тюрьме, и Юрка его оттуда вытащил. Он бы обязательно дождал это дело. Он верил, что его не посмеют убить. Сейчас «Новая газета» генпрокуратурой серьезно занимается, заместителя генпрокурора поймала на взятке. Он на них в суд подал, но они выиграют, я уверен. Очень люблю этих ребят, они умные.

— *И каков ваш прогноз относительно российского будущего при таких раскладах?*

— Ну что вы мне все задаете вопросы такие! Я детский писатель, понимаете? Одно только могу вам сказать — прогресс все равно огромный, жизнь стала лучше, кто бы что бы ни говорил. Мне семидесятые помнятся как один огромный поздний зимний вечер, когда бензина не достанешь... Я приезжаю в совхоз, а там один продамаг, в котором только хлеб и консервы «Частик в томате». Были такие, мало кто помнит сейчас это блюдо — частик... А теперь в этом совхозе четыре продовольственных магазина, и все ломаются, как в Москве, и даже есть киоск Союзпечати! Представляете? Люди потребовали, чтобы свежую прессу везли! Иное дело, что мы умудряемся из каждого своего успеха сделать поражение и стремглав затосковать по тому, как ужасно было раньше, — но даже категория «пятьдесят плюс», к которой и я принадлежу, обратно не хочет.

— *И все-таки добрую, трогательную сказку на нынешнем материале написать нельзя. А при застое было можно.*

— Почему?! Я недавно обиделся, что меня упрекают — вот, я давно новых персонажей не придумываю... Решил придумать. Написал сказку, которая вот-вот выйдет. Называется пока «Камнегрыз со станции Клязьма». Название не окончательное. Редакторы читали и говорили, что оторваться не могли. Говорят, это лучшая моя сказка. И я сам так думаю иногда. Но при этом я совсем ее не понимаю. Она как-то появилась ниоткуда. Я решил на этот раз придумать инопланетянина. Ну, и придумал — он с планеты, где огромная сила тяжести. Поэтому он такой сплюснутый весь, круглый, как блин, и у него очень много ножек. А питается он только такими предметами, в которые вложен труд. Ему нужна энергия человека, сохранившаяся в этих вещах. Никаких признаков разумности он сначала не проявляет. Ползает только. И никто не знает, откуда он вообще появился. Там поселок на Клязьме, и по нему прошла складка пространства. В эту складку он и заскочил. Но иногда он демонстрирует какие-то человеческие реакции — дети его, например, облепили пластилином, а он взглянул на себя в зеркало и весь этот пластилин испепелил. Не понравился себе. Я потом только прочел, что у дельфинов стыд тоже есть и тоже так выражается: дельфин увидел себя в зеркале, всего обвешанного электродами, и стал их срывать. Но я ведь, когда писал, ничего этого не знал — все придумал. Я долго сам не представлял, кто такой этот инопланетянин. Только

мама героев догадалась, что он, наверное, больной ребенок. Потому что у них на Клязьме очень много санаториев, лечебных детских лагерей и так далее. Вот его и прислали подлечиться. И действительно, он оказался ребенок, в конце за ним папа с мамой прилетели и забрали на таком же плоском звездолете. Но там сначала столько было страстей... Все решили, что он очень ценный. Мафиози стали за него бороться. И государство тоже захотело захватить.

— *А у вас государство вообще обычно противное — вы не замечали? И оно, и его представители. Милиционеры, военные, почтальон Печкин...*

— Печкин — стукач, открытым текстом говорю это сегодня. Потому он в сказке и стучит так много... Да, вы правы, наверное. Не очень у меня хорошо складывается с государством. Надо, наверное, любовь к нему внушать. Потому что вечно с ним конфронтировать — как-то непродуктивно... А с другой стороны, ну чего мне особенно стараться, оно само постоянно внушает любовь. Показывает кулак и спрашивает: любишь меня? Любишь? Ну то-то! Этой силой тяжести мы все слегка расплющены, вот почему, наверное, я и придумал Камнегрыза...

— *Как вы относитесь к перспективе уроков закона Божьего в школах?*

— Неодобрительно.

— *А у вас, вижу, икона висит...*

— Так ведь разговор не о вере. Речь о том, что в классе сразу начнется разделение. Их и так мало, что ли, — этих разделений? Одни пойдут изучать христианство, другие — ислам, третьи — иудаизм... Зачем делить людей по религиозному признаку? Успеют еще...

— *Иногда вас и Остера упрекают в цинизме. Мол, вы принесли в детскую сказку черный юмор и темы, о которых раньше с детьми не полагалось говорить вообще...*

— Я сам часто наезжал на Остера, у него, мне кажется, бывало иногда желание смешить любой ценой. Были какие-то не очень тактичные, мрачные задачки. Но в большинстве его сочинений — и, надеюсь, во всех моих — вы никакого цинизма не увидите, его там нет. Смешные вещи есть, это да, часто из детского фольклора. Нравиться ребенку вполне можно без рискованных и черных шуток. Как делал это Юрий Коваль в «Недопёске» и «Васе Куролесове».

— *Сейчас главная родительская жалоба — дети не хотят, не любят, не будут читать! А заставлять — надо?*

— Надо. Читать надо любимого Купера, дорогого Майн Рида, чудесного Джека Лондона. Читать надо потому, что никакой телевизор вам не покажет прерию такой, какой вы представите ее при чтении книги. Воображение всегда сильнее реальности, книга даст вам выдумать превосходный мир, — потом вы увидите все, о чем в детстве читали, и разочаруетесь, честное слово.

— *Я вот представить не могу, как через два года заставить дочь прочитать «Войну и мир»?*

— Сказать про себя? Честно? Я ее ни разу до конца не дочитал. Два раза брался. И солдаты там говорят не так, как крепостным мужикам положено, и Багратион какой-то глупый...

— *Объясните напоследок, почему в Японии стал так популярен Чебурашка?*

— Психологи провели опрос: он популярнее всего среди женщин, которым около тридцати. Наверное, у них сильна потребность кого-то жалеть, а жалеть японских мужчин, наверное, нельзя. Они не хотят жалости, у них культ силы и жестокий, толстый национальный спорт сумо. Которого я совершенно не понимаю. Два толстых человека выпихивают друг друга из круга. Зачем эта странная конкуренция в одном кругу? Делай, что умеешь, и никого не пытайся отпихнуть...

— *А помните вы момент, когда впервые почувствовали: все, я детский писатель, получается?*

— Когда написал «Бабушку пирата» и ее похвалил Заходер. Он сказал тогда, что две строчки там останутся на века. Мне они и сейчас нравятся.

— *Какие?*

— «Бедных зря не обижай, береги патроны».

2005

Александр Филиппенко

Разговор сразу после премьеры «Мертвых душ» — чтецкого спектакля по второму тому. Филиппенко еще не вышел из роли — из всех гоголевских ролей сразу — и откровенно актерствовал. Но тем интересней.

— Можно, я придумаю красивую фразу для начала интервью? Все-таки это же первая фраза... Вот: «С театром Вахтангова мы разошлись, как в море корабли».

— *Очень эффектно.*

— Я вообще благодарен всяким крутым переменам, знаете, поворотам... Потрясения благотворны. Вот я однажды в МФТИ проиграл всю свою стипендию. В преферанс. На физтехе все играли, самые умные — в бридж, а обычный контингент — в преф. И я на месяц остался без денег. Разгружал вагоны с яблоками на Савеловском вокзале. С тех пор никогда в карты не играл. Польза налицо.

Или вот закрыли наш театр «Наш дом». Я полтора года работал старшим инженером. И тут Юрию Любимову кто-то сказал: вот, хороший театр закрыли, надо помочь ребятам... Ну, Любимову было не привыкать, его чуть не каждую неделю закрывали, он нескольких наших ребят взял в мим-группу, меня в том числе.

А у Любимова был принцип — вся труппа на сцене, и до какого-то времени меня это устраивало. Олег вон Палыч наш Табаков постоянно говорит: актер должен каждый вечер быть на сцене! А потом мне захотелось большего, то есть еще и поиграть, и меня позвали вахтанговцы. И я стал вторым человеком после Ульянова.

— *В смысле?*

— В смысле — он все первые роли играет, а я все вторые. Я при нем. Он — Сталин, я — Жданов. Он — Ленин, я — Бухарин. Он — Ричард III, я — Бэкингом. И я взмолился: ребята, дайте, дайте мне сыграть хоть одну роль из золотого классического репертуара! Главную! Я на сцене с 1954 года, во Дворце пионеров басню Михалкова читал! Нет первых ролей, и все. А мои спектакли один за другим снимают с репертуара. И я стал брать отпуска за свой счет по полгода, по году — делать моноспектакли, программы...

— *А первый моноспектакль помните?*

— Первый был еще во времена «Нашего дома», его мне Марк Розовский ставил. «Есенин без женщин». Поздняя гражданская лирика. Тогда бывали такие вечера при Литературном музее. Аудитория маленькая, но афиши по всей Москве. Незабываемое чувство: крупно, красно — «Филиппенко»!

— *Вы потому и открыли собственный театр? Чтобы везде крупно и красно — «Филиппенко»?*

— Да поймите вы, я не от хорошей жизни играю моноспектакли! Мы с Александром Гельманом написали целую концепцию: театр должен называться «Двое». Можно «Трое», я не возражаю. Мне хочется с партнером играть, но чтобы пришел настоящий

режиссер, принес инсценировку настоящего драматурга и привел ко мне настоящего актера. Вот как нам Аня Родионова писала «Бедных людей», когда мы с Ирой Купченко играли, а Толя Васильев помогал ставить. И пусть приходит такой режиссер, как Васильев, Фоменко или Стуруа. А я тогда буду послушен, как пластилин! Я ведь после МФТИ очень хорошо понимаю слова Эфроса: «Актер должен знать свое место в формуле».

— *Кстати, я никогда не понимал, почему вы пошли в физтех, к тому времени уже играя в народном театре?*

— Физтех! О, физтех! Это же было сразу после «Девяти дней одного года». Все брезговали официальным театром (Софронов—Корнейчук—Корнейчук—Софронов) и бредили героическими физиками. Да я судьбе вечно благодарен за этот выбор! Какие были КВНы, еще домасляковские, какие старшие товарищи, какие нагрузки! И потом, хороший актер должен быть немножко математиком. Чтобы понимать формулу, про которую говорил Эфрос. Вот я с Виктюком работал, — замечательный режиссер, по-моему, — так у него принцип: актер должен двигаться по траектории. Внутри нее — импровизируй как хочешь, но траекторию блюди.

— *Как вы нашли деньги на театр? Тоже математика?*

— Мне Свободин однажды сказал: Саша, я старый человек и врать вам не буду. Это же ваш шанс, монспектакли. Это же ваше. А вы этим занимаетесь как-то между прочим. Ладно, я запомнил. А потом в каком-то круизе Градский говорит: слушай, все открывают театры. Так и ты открой, это же твое

дело! На свои деньги, но открой! Я пользовался тогда буквально любыми лазейками. Мне Челябинский тракторный завод сделал декорации. Чрезвычайно тяжелые, потому что тракторный завод и все такое, — и я к ним летал играть «Мертвые души»! В Челябинский камерный театр! И победил на конкурсе монодрам от имени Челябинского камерного театра и тракторного завода! Стал играть по всей Сибири — Омск, Томск, Новосибирск... Звали везде, принимали прекрасно. И я пошел в Комитет по культуре со своими бумагами: хочу открыть театр. Причем попал в очень трудное время: все наоткрывали театров, половину пора закрывать, потому что они не функционируют, — я и говорю: если через год я не выдам продукцию, гоните меня в шею и закрывайте как несостоявшегося. Прошел с тех пор год, и я, как видите, в театре «Под крышей» — это малая сцена Моссовета, на четвертом этаже — три вечера подряд играю три разных спектакля. И по всей стране их вожу. И готовлю новый, детский — Андерсен, Чуковский, Шварц.

— *Если не секрет, сколько стоит один ваш спектакль в провинции?*

— Секрет. Коммерческая тайна. Но жить на это можно, уверяю вас, потому что сейчас выросло новое поколение менеджеров. Они все учились на курсах Дадамяна, а он их научил раскручивать столичного гостя. Я приезжаю, скажем, в тот же Ижевск на двое суток — у меня секунды нет свободной: интервью прессе, прямой эфир на телевидении, прямой эфир на радио, творческая встреча и ночной ужин в закрытом клубе с отцами города. В результате на спектакле аншлаг. Эти люди даже говорить с артистом научи-

лись в другом тоне. Ты в их голосе слышишь по-ни-ма-ни-е. Понимание, чего ты стоишь.

— *Или сколько ты стоишь.*

— Нет, чего. Я считаю, это нормальное положение вещей: вот на моих спектаклях «Под крышей» четверть зала — приглашенные. Я сам выкупил билеты. Прошли времена бесплатных контрамарок, дорогие мои, прошли! Журналисты и театральные критики — все проходят на мои деньги.

— *В том числе и я?*

— В том числе и вы. Вы хотите со мной разговаривать — я заинтересован в том, чтобы вы сначала посмотрели мои работы. Но социалистического нахлебничества больше нет, и я выкупаю часть зала, выступая продюсером самого себя.

— *Раз уж я посмотрел спектакли — и спасибо вам большое, — поговорим немного о них. Я поражен тем, как вы выкладываетесь: это меньше всего похоже на традиционное чтение со сцены.*

— Нет, это, конечно, нормальный театр, а не чтецкие дела. Я играю по Станиславскому: все происходит со мной, здесь и сейчас. Когда-то чтецкая школа была совсем другая: я показывал свою программу худсовету мастодонтов, читал Горького — «Рождение человека», и мне сказали: Филиппенко только что перед нами родил. А раньше полагалось так читать: чтец остается бесстрастным, а вся публика рождает. Я лучше рожу сам.

— *Мы разговариваем после «Мертвых душ». Это очень классно, но рассейте мое недоумение: от чьего имени вы читаете? Вроде и не Чичиков, и никак не автор...*

— Точно не Чичиков. Думаю, что и не автор, потому что мы с Розовским, который начинал мне это

ставить, хотели снять пафос и вообще несколько переставить акценты. Вы, вероятно, ждали, что в финале будет отступление «Не так ли и ты, Русь»... — ждали, да?

— *Меня очень удивило, что вы его заткнули в середине и читаете с явной иронией.*

— А это чтобы оно зазвучало! А то стерлось совсем. Я его нарочно делаю смешно: «Постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства» — так это они с ужасом, с некоторой даже брезгливостью посторониваются! В общем, я читаю не от имени героя и не от имени автора, а как читатель, напрямую обращающийся к залу. Это мой любимый прием: я в этом спектакле должен контактировать со зрителями. В Достоевском это недопустимо, я там закрыт. А здесь подмигнуть залу, спросить о чем-то — милое дело.

— *Почему, по-вашему, Чичиков как тип больше нигде не появился? Ведь он оказался очень ко времени, к начинающему капитализму, и больше никто его не описал...*

— Чичиков вообще сложная фигура. Во-первых, у Гоголя он еще инфернален, от него адом пахнет, он совершенно новый и довольно страшный, и он подлец. А для нас с вами он не подлец или по крайней мере не адово порождение, потому что накопительство стало обыденностью. Он уже почти зауряден. Он появляется множество раз, но уже как обычный эгоист, накопитель или взяточник. Вроде Лужина у Достоевского.

А во-вторых, я примерно понимаю, что помешало Гоголю дописать «Мертвые души». Он не знал, что бывает с накопителем, в котором проснулась

совесть. И я не знаю. Я еще не видел такого накопителя.

Но в наше время этот герой встречается. Про него во втором томе сказано: он — единственный энергичный человек в безвольное время. Очень бывает страшен энергичный человек в безвольное время, потому что противопоставить ему нечего.

— *Вы читаете гигантские куски прозаического текста наизусть. Есть какие-то специальные приемы запоминания?*

— Давайте следующий вопрос.

— *Что, профессиональные тайны?*

— Да просто я боюсь об этом говорить. Это действительно только мое, и я сам не знаю, как держу все это в голове. Но вообще все зависит опять от режиссера: если он хорошо придумает мизансцены, текст на них ляжет сам собой.

— *Мне кажется, в театре вам все-таки везет больше, чем в кино. Кинематографисты используют вашу фактуру, внешность, так что достаются вам все большие монстры...*

— Ну почему монстры! Вот был таджикский фильм «Бросок» — я там играю героического пограничника, тоже несколько странного, но вовсе не монструозного. Вот сейчас показывают Афганистан, Хорог — я же все это видел, насквозь проехал во время съемок! Потом я играл в «Убегающем августе» героя-любовника, в «Иване Лапшине» у меня серьезная роль... В «Командире подводной лодки», который просто не попал в прокат, я играю Маринеско... А в фильме «Из жизни Потапова» на заре перестройки я даже играл заместителя генерального конструктора.

— *Большой успех!*

— Серьезная роль, я вам говорю.

— *А самая серьезная в кино, по-моему, Артуро Уи в фильме Бланка. Но из брехтовской плакатной «Карьеры Артуро Уи» он сделал такой, знаете, эстетский экзерсис...*

— Я послушный актер. Я знаю свое место в формуле. Да, эстетство, — но это же Бланк! Это первая моя роль действительно из золотого репертуара. И мне нравится картина, я надеюсь у Бланка и в следующем фильме сыграть. Если, конечно, ему дадут денег по случаю восьмисотпятидесятилетия Москвы. Это будет такой московский балаган.

— *И все-таки преобладают у вас злодеи: Смерть, Кощей...*

— Ну, Смерть играть мне не привыкать. Я еще в «Царе Максимилиане» — первый советский мюзикл на музыку выпускника консерватории Максима Дунаевского — Смерть играл и куплеты пел. На этот спектакль в наш театр «Наш дом» пришел молодой Алексей Герман и еще тогда нас всех приметил. А Кощей — это одна из любимых ролей. В фильме «Там, на неведомых дорожках» по Эдуарду Успенскому. Успенский начинал как сатирик, мы играли его миниатюры, а потом он, как многие, нашел прибежище в детской литературе. И написал очень смешную книжку «Вниз по волшебной реке», со всякими подтекстами... В общем, грандиозно было этого Кощея играть. Мне сначала то один парик примеряли, то другой — все не то! И тогда гример, — там замечательный был гример, изучал френологию, все знал про черепа, — мне и говорит: Саша, не прячь лысину! У тебя какие-то

три точки на ней, очень редкие, так что абсолютно гармоничная голова. Сбрей-ка ты последнее! Я обрился наголо — гляжу, в самом деле — вылитый Кощей. С тех пор во всех страшных ролях бреюсь.

— *А проблем с лысиной не было? В смысле комплексов?*

— Никогда не было. В лысине вся моя сила! Мне если парик нацепить — я получаюсь типичный советский паренек.

— *Несмотря даже на впалые щеки?*

— А может быть, благодаря им. А с лысиной я ни на кого не похож.

— *Она давно начала появляться?*

— Лет после тридцати. Конец Таганки — начало Вахтанговского.

— *Представьте, что у вас плохой зал. Вы из кожи вон лезете — он не реагирует. Вы будете как-то хохмить, покупать репризами или отыграете все по своей обычной партитуре?*

— Хороший вопрос. Был бы совсем хороший, если бы у меня мог быть плохой зал. А этого в принципе не бывает, потому что ко мне ходят люди, знающие, на что они идут. Я всегда на афише указываю авторов, подробно обозначаю жанр — вот как с «Мертвыми душами», где я подчеркиваю, что читаю последние главы и что будет довольно серьезное зрелище. Так что даже в провинции — а может быть, в первую очередь в провинции, — где мне приходится работать на большие залы, которых я не люблю, публика у меня своя. Все ловит. Впрочем, нет, стойте. Был один раз, привели школьников, чтобы им по программе послушать «Мертвые души», — бьюсь, бьюсь, ничто их не берет! Как-то

разогрел к концу, главным образом на прямых обращениях к залу. Комиковать не стал.

— *А если появится хулиган? Допустим, пьяный? Что вы будете делать?*

— Нечто подобное бывало. Но меня текст выручает. Кто-нибудь начнет орать — а я его Жванецким! Довлатовым! Булгаковым!

— *Слава часто вам помогает в быту?*

— Слава — если это можно так назвать — пришла тогда, когда я уже всему примерно знал цену. И понимал, что узнают тебя или нет, а ГАИ надо уважать.

— *Вы часто за рулем?*

— Очень люблю это дело. У меня «Нива». Мне ее подарили после выступлений в Тольятти. Как раз на прошлый Новый год. Мы с друзьями, один из которых, кстати, был Олег Митяев, а второй — инспектор ГАИ, но нестандартный, очень интеллектуальный человек, сели в эту машину и поехали в Москву. 31 декабря днем доехали до Рязани. Измочаленные вдрызг. Упала ночь. К девяти вечера были в Москве, перезвонились с друзьями, сели за столы... И все после первой же рюмки отрубались, провалились в сон. В этот Новый год я уж за все отыгрался.

— *Как же вы доехали, зимой-то? Неужели ни разу не сломались от Тольятти до Москвы?*

— Не ради рекламы говорю: «Нива» — идеальная машина. Везде пройдет и никогда не сломается.

— *А починить ее вы можете?*

— У меня вообще неплохие руки. Люблю иногда гвоздь забить, отойти и полюбоваться. Сейчас вот достроил себе дачу в Солнцево. Свет, вода, отопление. То есть сам я, конечно, не умею строить,

но посильно участвую. Появилось, знаете, чувство дома. Ответственности за место, где живешь. Я в солнцевском доме культуры пытаюсь договориться о каких-то студиях, каких-то спектаклях... Хочется, чтобы там тоже что-то такое было.

— *Солнцево — это где солнцевская мафия?*

— Ну, у каждого свои ассоциации. Солнцево — это где рядом Переделкино, дача Пастернака...

— *Вас не раздражает, когда после долгого разговора о творчестве вас под занавес просят рассказать о семье?*

— Ради Бога. У меня трое детей в двух местах. Сын и дочь от первого брака, дочь от второго, продолжающегося почти двадцать лет. Старшая дочь Мария — переводчица, сын Павел поступал в Щукинское, но я никаких усилий к его поступлению не прилагал, он сам попробовал и сам передумал. Сейчас играет в какой-то группе «Ай-Эф-Кей». Что за группа? что играют? — совершенно не понимаю. Какой-то грандж. Но есть фанаты, представляете? У сына моего — фанаты! Постораниваются и дают им дорогу другие группы.

А дочь Сашенька, шестиклассница, одиннадцать лет, уже выступает по телевидению с чтением детских рассказов для взрослых. Олег Григорьев, Юрий Коваль... Я пытаюсь ей подбирать репертуар, но главным образом помогает мать, режиссер на телевидении. Потомственная телевизионная семья. Жену зовут Марина. Обожает свое дело. И, как вы можете догадаться, больше всего на свете я ненавижу словосочетание «ночной монтаж».

Василий Шандыбин

Шандыбин, брянский слесарь, объект насмешек, любимый персонаж карикатуристов и пародистов, вечный герой думских скандалов — то полез с кулаками на Юшенкова, то грозил костылем (чужим) сторонникам земельного кодекса, то заявлял о намерении исполнить роль Жухрая на сцене Брянского драматического театра. Шандыбин, которого во всех интервью старательно — и не без его помощи — делают идиотом. Шандыбин, чьи грозные брови и сверкающая лысина сделались символом КПРФ на нынешнем этапе ее существования.

Но я хочу, чтобы увидели другого Шандыбина.

Моя родня живет в Брянске и знает, как и сколько он делает для города. Но и не в этом суть. Мне пару раз случалось с ним говорить без телекамер, и я видел перед собой доброго усталого человека, очень неглупого и прекрасно понимающего безнадежность своего дела. Худо ли бедно, а на таких, как он, стояла страна, — и он едва ли не единственный в нынешней Думе, кто действительно представляет народ, тот самый, о котором столько разговоров.

Но, конечно, это не единственная причина, по которой я хочу сломать образ Шандыбина-клоуна. Он один из немногих людей в современной публичной политике, чья честность для меня вне сомнений. Я знаю, что у него есть многочисленные сторонники и крепкие убеждения,

и знаю, что он им не изменит. А еще я знаю, что он один из немногих, кто сегодня осмеливается резко и нелицеприятно критиковать Путина — в то время как огромная часть КПРФ давно превратилась в карманную, управляемую оппозицию. И если дело дойдет до строительства серьезного оппозиционного фронта, у меня как-то больше надежды на Шандыбина, чем на либералов с их вечной любовью к собственной шкуре. Оно, конечно, Солженицын прав — «Волка на собак в помощь не зови»; но кто тут волки, а кто собаки — еще большой вопрос.

— *Василий Иванович, вы, я знаю, резко выступили против отключения ТВ-6. Это как-то не вяжется с обликом парламентария-коммуниста...*

— Отчего же? Мне многое не нравилось на этом телеканале — «За стеклом», например. Но они телевидение частное, независимое, и уж если говорить о парламентариях, то работу Госдумы там освещали гораздо лучше, чем на ОРТ и РТР, вместе взятых. Отчасти это происходило потому, что к ним неохотнее ходили люди из президентской администрации, политики первого эшелона — опальный канал, как тут пойдешь? — и потому они волей-неволей больше внимания уделяли депутатам. Сейчас у нас скучная Дума, буржуазная Дума, и все-таки, какая она ни есть, она все-таки серьезное препятствие на пути абсолютной власти. Да и потом, ТВ-6 представляло другую точку зрения, а это зрителю нужно, если он не совсем еще одурел. Посмотрите, как на президентском канале освещали пенсионный кодекс, закон о национализации, реформу ЖКХ — можно подумать, что Госдума единодушно одобряет эти проекты, которые во многих отношениях выгля-

дят совершенно дикими, грабительскими, антинародными! Нет, ситуация с ТВ-6 — это сигнал. Почувствовали, что можно, и закроют теперь все. Да все и легло, собственно говоря. «Отечество» легло, кстати, первым, а сколько было шуму и гордости?!

— *То есть оппозиции в Думе нет?*

— Оппозиция — это те, за кем идет народ. Вот я читаю: в Госдуме тридцать процентов оппозиционных депутатов. Если это так — стало быть, тридцать процентов российского электората должны выйти на улицу после принятия того же Земельного кодекса. Но не выходят они почему-то, вот незадача! Значит, эта оппозиция представляет только себя, с электоратом работать не умеет и интересам его чужда — назовем вещи своими именами. Вот сейчас железнодорожную реформу принимают, фактически расчленяют МПС: грузоперевозки и пассажирские перевозки отдают на откуп частным компаниям, заводы МПС тоже раздают в частные руки... Что это будет означать на практике? Прежде всего — полный произвол в установлении цен на билеты, стремительное подорожание всего, вплоть до станционного буфета. А в перспективе — развал железных дорог, последнее, что вообще осталось в стране после успешного развала промышленности. Но я что-то не вижу народных толп на улицах, а реформу ЖКХ — совершенно бессовестную — вообще проглотили без звука. Путин успешно и даже быстрее, чем можно было ожидать, продолжает дело Ельцина.

— *Путин, я гляжу, у вас симпатии не вызывает?*

— Я возлагал на него определенные надежды — в том смысле, что он будет проводить настоящую

прорусскую политику. Не делайте из меня националиста: я имею в виду русское государство, а не только русскую нацию. Рузвельт в двадцать девятом, когда пришел к власти, сказал: «Я буду худшим — и, возможно, последним — президентом Америки, если не изменю социальную ситуацию в стране». И начал с национализации коммерческих банков. Почему нам не национализировать банки? Одна нефтяная компания получила в прошлом году три миллиарда долларов чистой прибыли. Почему не национализировать ее? Но ведь эту идею никто и всерьез не рассматривает...

Я много раз хотел встретиться с Путиным. Наверное, письма не доходят. Ездит он много, патристическую лексику освоил прекрасно, но легко проследить, что на Кубе он говорит одно, а в США или Германии совершенно другое. Легко проследить также, как буксуют почти все его реформы — прежде всего судебная, а ведь судебная-то система у нас прогнила снизу доверху! Я не говорю о том, что рабочий как получал полторы-две тысячи рублей, так и получает до сих пор. Все, кто создают материальные блага, сегодня живут хуже всех. Это факт. И каких бы вы взглядов ни придерживались — левых, правых, красных, зеленых, этого не признать нельзя.

— *Я вообще не очень понимаю, есть ли сегодня в России рабочий класс...*

— Скажу вам честно: при советской власти рабочий класс очень поглупел. Она испортила его сильно. Десять лет стоишь в очереди на квартиру, два — на машину, летом иногда профком тебе устраивает путевку в Крым, — идет такая размеренная жизнь-

конвейер, при которой человек вообще отучается думать. А уж мысль бороться за свои права вообще ему в голову не приходит. Страшно сказать, но западные рабочие гораздо активнее наших. Во время приватизации я предлагал: возьмем завод в свои руки! Никто меня не поддержал, все предпочли бесплатно взять акции. Думали ведь как: вот возьмем мы эти акции, выберем директора, он будет перед нами отчитываться, все будем знать — по какой цене покупается, по какой цене отпускается... куда деньги идут... И жить будем, как в Штатах, каждый год на Гавайи ездить... Прошел год, два — «Правильно ты говорил, Василий Иванович!» А поздно, братцы! Или возьмите шмаковские профсоюзы: это что, борьба за интересы рабочего класса? По прежнему Трудовому кодексу забастовку могли объявлять профсоюзы, а теперь что? Теперь нужно согласие двух третей трудового коллектива! Да две трети трудового коллектива — это как раз директор со всеми управленцами: что ж вы думаете, они забастовку поддержат? Еще один перл этого Трудового кодекса: заключение контрактов на три года, на пять лет... Выжали человека, как лимон, потерял он силу и здоровье, — ступай, уважаемый, на все четыре! И профсоюзы молчат. Слушайте, уважаемые, но вот вам Япония, могучая индустриальная держава: там практикуются контракты на двадцать пять лет, а то и пожизненные! Человек связан с фирмой всю жизнь, дети его связаны и внуки, и она обеспечивает ему старость...

— *Значит, как политической силы рабочего класса нет?*

— Нет. Но его и в мире нет как политической силы: за всю историю XX века сильное рабочее дви-

жение было в шестидесятых, во Франции. Два-три года они там действовали довольно успешно, потом и это затухло. Пик рабочего движения в России — это девяносто восьмой, шахтеры, выход на рельсы. Но продержались они две недели. О рабочем классе у нас вспоминают перед выборами, это давно известно. Само собой, в нынешних тяжелейших условиях будут появляться болтуны и горлопаны, но от них ведь вред один. Они только компрометируют рабочее движение. Нужна организация, а кто у нас этим занимается? Один Анпилов со своей «Трудовой Россией», и то не вижу я, чтобы за ним многие шли. Причина вот в чем: такой страшный разброс, такая дистанция между верхними и нижними этажами общества — она очень быстро приводит к оскотиниванию и богатых, и бедных. Тут у меня никаких иллюзий нет. Деньги — особенно в невообразимых, запредельных количествах — портят человека, начисто заглушают его совесть; но ведь и безденежье портит, и современный рабочий вообще уже ни о чем не думает, кроме выживания. У него нет уважения к себе и к своему делу. Нет веры ни во что. Нет желания бороться — только слепая злоба в лучшем случае, а в худшем — тупая покорность. Я не за уравниловку, поймите, я за то, чтобы в обществе соблюдалась определенная «вилка» — разница в доходах может быть в пять, десять, двадцать раз, но не в несколько тысяч! Весь мировой опыт, кажется, показал, что слишком большое расслоение губительно, царская Россия тому пример...

— *К вопросу о царской России, Василий Иванович. Там большевики долго боролись за свободу печати, вот как вы сейчас, а пришли к власти и окончательно воз-*

дух перекрыли, куда там царизму. Нас не ждет что-нибудь подобное в случае вашей победы?

— Да, советская власть потому и лопнула, что перекрыла свободу слова. Это же остановка всякого развития. Нет, мы этой ошибки не повторим. Ну посмотрите на меня: сколько обо мне пишут и чего пишут? Я хоть раз в суд подал, от разговора отказался? Я же знаю, что ваши взгляды не совпадают с моими, читаем кое-что, слава Богу. И что — деремся? Нельзя же дуть в одну дудку-то!

— А Путин продолжит зажимать прессу?

— Да тенденция-то уже видна, и у него просто выхода нету. Все эти бодрые разговоры о подъеме экономики, по-моему, не убеждают сейчас и самого зашоренного человека. А в 2003 году нам долги выплачивать, и это процентов 35 бюджета. Доллар к концу нынешнего года, я почти уверен, приблизится к 40. В этих условиях за рейтинг надо как-то бороться — ну, он и борется: с одной стороны, демонстративная забота о детях, о беспризорниках... хотя какая может быть борьба с беспризорностью в стране, где учителей ликвидировали как класс? Сейчас только вспомнили, зарплату чуть подняли... А с другой стороны, будет, конечно, зажим. Потому что жизнь лучше не становится — это слишком видно, и дорожает все, и инфляция подрастает, и производство стоит... Но критики-то он как раз уже не терпит. И потому остановиться не сможет: журналистов ждут не самые легкие времена.

— Вижу у вас портрет Сталина. Вы как к нему относитесь?

— Я хорошо к нему отношусь, хотя вам и неприятно, я знаю, это слышать. Был культ, была и лич-

ность. Все разговоры о том, что репрессии органически вытекают из самого советского строя, — они для меня сомнительны, потому что в основе советского строя был не страх, а самоуважение, достоинство рабочего человека. Сталин дал рабочему возможность расти. Три года у станка — потом высшее образование, руководящая работа, нормальная жизнь... При Сталине появилась восьмиразрядная система, при которой за повышенную квалификацию платили настоящие деньги. И уж как хотите, но на одном страхе стахановское движение не возникло бы. Людям интересно было. Это страшно интересная была жизнь! Нынешняя жизнь ужасно скучная.

— *Почему?*

— А бесполезно все. Вы можете из кожи вон лезть, рационализировать производство, наращивать его — а работаете-то все равно на хозяина, на его виллы, на его любовниц... Между прочим, это не только слесаря касается, это касается и журналиста... Личной заинтересованности нет. А второе — зарплата: на любом заводе она не превышает тысячи. Ну — двух. Ну — если сказочно повезет — трех. Можно жить на эти деньги? Выживать — можно... но разве выживать интересно?

— *Кто вам в Думе симпатичен? Пусть это даже будут люди из других фракций, пусть идейные враги...*

— Из коммунистов — Купцов. Наиболее перспективный политик в КПРФ, мне кажется, поскольку знает производство и принципиален. Сколько раз ко мне подходил и говорил: ты не прав! Игорь Родионов. Со всем нашим комитетом по промышленности и транспорту я дружу, в «Единстве» есть

хорошие люди — Стрельченко... И в СПС хорошие люди есть, не все Немцовы...

— *А представьте, если будет настоящая оппозиция: готовы вы объединяться с правыми?*

— С правыми? Смотря с какими. Есть такие, что с ними я готов блокироваться только на баррикадах, если уж совсем припрет: кто не против нас, тот с нами. Но они ведь не пойдут на баррикады, понимаете? Так что мы бы не прочь построить единую коалицию, — это они не готовы к настоящей борьбе. Принципов нет.

— *Но вы не можете не признавать, что, скажем, Юшенков, — с которым вы чуть не подрались, — человек по крайней мере принципиальный.*

— Принципиальный? Бывший политработник, член КПСС? Да ладно, бывают всякие прозрения, я не спорю, но ведь ты крестьянский сын, из многодетной семьи. Советская власть образование тебе дала, все дала... ну зачем ноги-то об нее вытирать? И теперь тоже: СПС уже не устраивает его, он к Березовскому побежал. Нет, дорогой мой, это не называется принципиальностью, это называется «пойти вразнос»...

— *А получится у Березовского оппозиция?*

— Сомневаюсь, честно говоря. Из Лондона оппозиция не делается, тут-то у него серьезной опоры нет... Я думаю, главной ошибкой Березовского был выход из Думы. Он, когда сложил полномочия, попросил Невзорова устроить встречу со мной. Я согласился. Сидели вчетвером: Березовский, Абрамович, Невзоров и я. Он спрашивает: Василий Иванович, как вы относитесь к моему уходу из Думы? Плохо отношусь, говорю. Прости меня,

Борис Абрамович, ты хоть и еврей, а в этом вопросе дурак. Я уж не говорю про твоих избирателей из Карачаево-Черкесии, которых ты бросил, хотя, по идее, ради них сюда и шел. Но как депутат Госдумы ты хоть трибуну имел, мог говорить, что хочешь (не самая маленькая трибуна, кстати); за границу ездить мог, неприкосновенностью пользовался... Он голову опустил и, кажется, обиделся. Он думал, что я этот ход одобряю... Невзоров мне недавно звонил и сказал, что прав тогда был я.

— *Он вообще серьезный человек, как вы думаете?*

— Чтобы ответить, серьезный ли он человек, мне бы надо с ним водки выпить, посидеть, поговорить. А я с ним толком говорил два раза, вполне официально.

— *Я знаю, что избиратели вас любят: что вы за последнее время сделали для Брянска?*

— Тут сколько ни делай, все мало. Я знаю, как Брянск живет, а в особенности — как живут деревни в его окрестностях. Вы себе представить не можете, что это такое. Что тут сделаешь? Вот только за последнее время: я достал УЗИ для Советского района Брянска, не было там в поликлиниках ни одного УЗИ. Одел детскую колонию — достал военную форму. Сотню одаренных детей свозил в Москву — поступать в вузы столичные; все поступили. Когда не могу спонсоров привлечь, свои деньги даю из депутатской зарплаты. Восемьсот человек устроил на бесплатные операции в лучших клиниках Москвы. Одежду стараюсь привозить с собой... А в общем... вот я сижу в Брянске, веду прием — и понимаю, что очень многие идут не за помощью. Они выговориться идут: выслушал я их — ну и ладно, душу отвели.

Это, знаете, вот стояла в советские времена очередь в Мавзолей. Вы думаете, они все хотели только на Ленина посмотреть? Они жаловаться к нему шли. Это было вроде как на исповедь. Выговорился перед ним — и легче. Я не сравниваю, я просто говорю, что для нашего человека пожаловаться, поговорить иной раз важнее помощи...

— *Слушайте, но неужели Путин сам не видит, как на самом деле живет страна?*

— А откуда ему видеть? Вот когда Александр I ездил, Аракчеев лично следил, чтобы перед ним из одной избы в другую носили, знаете, гуся. Он в одну семью — гусь. В другую — гусь! Прекрасно живут крестьяне! Вот и Путин: у меня такое ощущение, что перед ним носят одну и ту же банку соленых огурцов, которые он и пробует с умилением... Если бы он меня принял, я бы ему рассказал то, что от него скрывают.

— *Например?*

— Например, что на будущих выборах он никого шапками не закидает, не так все просто. Авторитет его падает, и чем дальше — тем быстрее. Если серьезную кандидатуру выставить на выборы — серьезного человека, за которым не стояли бы олигархи, — так исход этой борьбы еще очень неясен... Администрация думает, что они оппозиционную прессу заглушат, а народ оболванят: ох, не думаю. Капиталисты-то наши просчитались чуток: народ пусть подохнет, были бы мы при долларах. Выходит, что без народа начинаются проблемы с долларами. Недоучли.

— *Но вот вы говорите о национализации: кто же из собственников отдаст нефть или золото?*

— Кто ж их когда спрашивал, если национализация становилась государственной политикой? Армия-то на что? Взять добычу золота и алмазов в свои руки, ввести государственную монополию на водку и табак, национализировать недра — вот вам и решение проблемы...

— *Радикальное решение, скажу вам.*

— Америка так вышла из Великой Депрессии, стало быть, и мы выйдем.

— *Я знаю, что вы голосовали против российского трехцветного флага. Почему?*

— Понимаете... вот у противников гимна Александра есть железный аргумент: под этот гимн голосовали за репрессии, приветствовали тирана! А под трехцветным флагом проигрывали в Японии, позорились в Первой мировой, под трехцветным флагом воевала армия Власова — и когда бросали поверженные флаги к Мавзолею, в их числе был и этот триколор. Не хочу я под этим флагом жить. Имею право? Я был единственным во фракции, кто против него голосовал.

— *Вы говорили о возможностях роста при советской власти, а сами сорок лет проработали слесарем — даже не мастером. Почему?*

— А платили хорошо. Это была трудная работа, сорок лет я вкалывал на Брянском дормаше, получал триста, четыреста рублей в месяц — не всякому начальнику столько платили. Я много на книги тратил. Детей поднял. И сын, и дочь у меня получили высшее образование в Москве, сейчас здесь работают.

— *И что, не испортило их образование? Не стали они к вам хуже относиться?*

— Хорошее образование не портит. Они добрые дети и любят своего отца.

— *Вам в Думе когда-нибудь предлагали взятку?*

— Ну, это же не так делается — что вот подходят и предлагают конверт. Нет, это в мягкой форме: мол, Василий Иванович, не надо ли вам жилищные условия улучшить... Не надо мне улучшать жилищные условия. У меня в Брянске двадцать семь метров да в Москве, в Митино, двадцать пять.

— *Напоследок вот о чем, Василий Иванович. Вы часто становитесь объектом достаточно злой иронии, ваши шутки и грубости широко обсуждаются, вы не очень-то заботитесь об имидже и порой напоминаете почти юродивого. Вам не хотелось с этим образом расстаться?*

— Интересный вопрос. Как, по-вашему, Жириновский талантливый оратор?

— *В своем роде выдающийся, но безнадежно больной, по-моему...*

— Абсолютно здоровый. Просто умеет привлечь внимание и на этом карьеру сделал. У нас в партии такого оратора нет. А нужен. Нужен человек, который бы привлекал внимание к большим вопросам: пусть они по телевизору пустят нарезку из каких-нибудь моих ошибок и оговорок, но кое-кто и главное расслышит. Нет у меня сейчас другого способа привлечь внимание к положению большей части страны. Пусть я подставляюсь — сотня посмеется, а один задумается.

— *Считайте, что я задумался.*

— Буду рад.

Михаил Швыдкой

Швыдкой всегда казался мне интересней в качестве критика и театроведа, нежели в качестве чиновника или популяризатора, но выходило так, что разговаривать всегда приходилось по конкретным и совсем не театральным поводам. Впрочем, это даже наглядней. Видно, что с настоящим удовольствием он говорит только о театре и скучает по этой теме больше всего.

— Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем нужна ваша должность среди явной и растущей отчужденности...*

— Вот это вы зря, потому что спрос на культуру в напряженные времена исключительно высок. По двум причинам. Во-первых, только она и остается послом, медиатором, коммуникатором, как хотите: дипломатические связи либо рвутся, либо натягиваются так, что вместо нормального диалога получается бесконечная демонстрация силы и принципиальности. Во-вторых, скажу сейчас вещь циничную, но правдивую: никогда взаимный интерес так не возрастает, как во время конфронтации. Грубо говоря, культура вероятного противника всегда хорошо продается, потому что вызывает обостренное любо-

* Спецпредставитель президента по культуре. — Д.Б.

пытство. Вспомните интерес ко всему американскому в застойной России и колоссальные по американским меркам тиражи советской прозы на Западе. Тамошний интерес к Трифонову, Стругацким, Эфросу, Любимову, Григоровичу. Тамошние километровые очереди на русский балет. Конфронтация повышает цену культуры — хотя бы из-за ее уникальной роли: только по этой линии и можно еще договариваться. Ну, представьте: на международном конгрессе встречу я Роберта Стуруа. Или Гию Канчели. Что мы, не здороваемся? гневно отвернемся?

— *Может и до этого дойти...*

— Не может. Культура гуманистична по сути своей, а я не вижу сейчас, честно говоря, никаких идей, кроме гуманизма. Это единственный, последний универсальный язык — и последняя гарантия от полного взаимного непонимания. Грузина, осетина, немца, русского, белого, черного объединяют представления о боли, о чести, о счастье. Всем больно, когда пытаются. Всякий кинется в драку, когда на его глазах бьют ребенка или женщину. Все нуждаются в сострадании, как бы ни изображали независимость. Вот это — последнее, что осталось; сейчас не время великих объединяющих доктрин. Их нет не только в России — нет и в мире.

— *Это как раз скорее хорошо.*

— Не убежден. По крайней мере для искусства это не обязательно хорошо — весь русский авангард вдохновлялся революционными идеями, и мир до сих пор осваивает сокровищницу этого авангарда. Вся великая оттепель шестидесятых — свет которой и теперь к нам доходит — верила в социализм с человеческим лицом, и я верил, и крах его мне до

сих пор обиден. Я и сейчас скажу, что социализм был идея великая, но, как выяснилось, несовместимая с человеческой природой. Человек несколько подкачал, а вывести нового не получилось. Так что сейчас главная всемирная идея — комфорт, и национальная идея России — в том числе. Вот почему я не склонен верить, что мы погружаемся в изоляцию, уходим за железный занавес и начинаем конфронтацию со всем светом.

— *Вы не склонны, а Владимир Владимирович Путин, по-моему, склонен...*

— И опять я не соглашусь. Только что была его встреча с главными редакторами, традиционная, и я на ней был, и один главный редактор стал развивать мысль о необходимости проучить Америку, забрать у нее хранящиеся там средства — потому что зачем поддерживать американскую экономику? — и вообще всем показать. Владимир Владимирович послушал и сказал: такое чувство, что в НКВД начинали вы, а не я.

— *Понимаете, мне показалось по его последним выступлениям, что он расцвел, весел, благодушен, что ему очень нравится все происходящее, что это его среда...*

— Я не сказал бы, что расцвел. Я сказал бы, что он демонстрирует уверенность, но в этом ничего нового нет. А пик грозной риторики, безусловно, уже позади. И это не его риторика, а вы сами должны знать, что во время критических ситуаций, особенно военных, всплывает много всякой дряни. Есть знаменитая фраза Самюэля Джонсона — «Патриотизм — последнее прибежище негодяев». Джонсон, судя по контексту, имел в виду, что это последняя надежда

негодяя исправиться, зацепка, шанс. Но мы знаем эту фразу в интерпретации Льва Толстого, а его опыт, опыт долгой жизни в Российской империи, свидетельствовал о том, что к патриотической идее норовит примазаться всякая дрянь, которая без этой идеи беспомощна и бездарна, а с нею как бы сразу на коне. Это есть, и никуда не делось, и все-таки идет на спад. Потому что агрессивная риторика нуждается в накачке, наращивании, а куда ее наращивать дальше? До третьей мировой? К ней никто не готов, потому что Россия в ее постимперском виде не испытала еще ни одной по-настоящему серьезной встряски. Да, был дефолт, но это оказалось не так страшно и быстро отыгралось; да, была Чечня, но это касалось не всех. Насколько нынешняя Россия готова к общенациональному масштабному стрессу? У меня на этот вопрос ответа нет, и у чиновников, и у генералов, уверяю вас, тоже. Потому что это другие генералы, тоже привыкшие к определенному комфорту. Наконец, глобальный мир — ситуация принципиально новая, от этого уже никуда не денешься, и полная изоляция в сколько-нибудь значительной стране невозможна. Россия обречена на модернизацию, цены на нефть в обозримой перспективе упадут, поиски альтернативного топлива сейчас идут раза в три интенсивней, чем в конце прошлого века...

— *Так я и говорю о модернизации. Она у нас всегда возможна только по мобилизационному сценарию, как в тридцатые, а для этого обязательно нужна угроза войны, террор, цензура...*

— Во-первых, сталинская мобилизационная модернизация себя не оправдала — видите сами: она

после Сталина простояла недолго, и цена ее оказалась непомерна. Во-вторых, если мы хотим реально обновлять страну, для этого нужны свободные мозги. В рабстве инноваций не бывает, и это тоже аксиома. Даже Сталин ради своих инноваций вынужден был ввести шарашки и закрытые научные городки, внутри которых степень свободы была достаточно высока, — вспомните атмосферу солженицынской шарашки, вспомните курчатовский институт, откуда вышел главный советский диссидент Сахаров... Террором не больно-то модернизируешься.

Главная проблема сейчас — не у Грузии и не у Осетии. Всем ясно, что Южная Осетия и Абхазия — уже независимые государства, пятнадцать лет существуют в этом статусе, а после попытки присвоить их силой они в Грузию не войдут никак. Проблема сейчас у России. Насколько она позволит затопить себя псевдопатриотической пеной? Насколько распространятся табу? Собственно, культура и состоит из табу, запретов, но, помимо них, она предполагает еще и диалог; насколько Россия после последних событий готова к диалогу? Вот вопрос, на который должна отвечать не власть, а мы сами. В этом главное испытание, а не в проверке военной силы.

— *Но вы не можете не видеть, что свободное пространство стремительно скукоживается...*

— Как раз этого я не вижу вовсе. Потому что не вижу людей, которые олицетворяли бы эту тенденцию. Покажите мне людей, кроме нескольких ни на что не влияющих горлопанов, занятых исключительно раздуванием собственной значимости, которые призывали бы к запретам, политической цензуре, истреблению внутренних врагов... Давайте

перестанем валить на цензуру и честно предъявим собственного внутреннего цензора — вот эта тенденция есть, но это уже вопросы к себе, разве нет? Проблема совершенно не в том, чтобы сказать вслух «кровавый режим Путина—Медведева». Это неинтересно, это пошло, я бы сказал. Проблема в том, будете вы — внутри себя — бояться или нет? А на это, кроме самого художника, никто не ответит.

И потом, насчет изоляции. Она невозможна хотя бы потому, что ситуация вокруг Грузии — специфична: у Грузии нет не только формальной, но и моральной правоты. В таких вещах очень важен первый удар. Первый удар нанесли они. Мир это знает. И я бы не сказал, что общественность — Кондолиза Райс ведь еще не вся общественность, верно? — однозначно занимает антирусские позиции. Если мир не спешит признавать Южную Осетию и Абхазию, это не значит, что Россия за это признание окажется изгоем. Дело даже не в сырьевой зависимости, которая велика, но преодолима. Дело еще и в культурной, а вот тут без России никак: такого интереса к русской культуре и такого напряженного внимания к происходящему в ней я не помню давно. Отчасти именно потому, что в мире очевиден кризис идей и течений, а у нас, как прежде, серьезное интеллектуальное брожение, в пропаганде и популяризации которого я и вижу главную свою задачу на новой должности.

— *Как раз с этой должностью была связана некая интрига: большинство ждало, что вы получите работу в Минкульте или уж не получите никакой государственной должности...*

— Второй вариант был логичнее и в каком-то смысле предпочтительнее, потому что я в Министерстве культуры с 1993 года. Из них четыре — министром, потом небольшая телепауза, а потом еще четыре — руководителем агентства. Это много. Существует правило: раз в семь лет надо менять квартиру, работу или жену. Жена посоветовала сменить работу, и я, классический подкаблучник, согласен. Дело даже не в том, что исчерпан ресурс: положим, он есть, но есть и желание делать новые вещи. Я хотел писать книгу, и это желание никуда не делось, кстати...

— *Именно после вашего обещания написать книгу — озвученного в «Большом городе» — вы и стали спецпредставителем президента. Неужели там так боятся любой книги, написанной человеком из власти?*

— Вы думаете, я собирался писать мемуары о тайнах под ковром?

— *Кто знает, Михаил Ефимович. Вы сами сказали, что хотите попробовать новое...*

— Это книга о самосохранении человечества, о совершенно других вещах. Я всю жизнь занимаюсь исторической драматургией, английской по преимуществу. История меня интересует вот с какой точки зрения: она вся более или менее состоит из экстремумов. Периодически — есть теория, что раз в 12 лет, есть — что раз в 100, — оно уже заносит ногу над пропастью и готово туда рухнуть. И всякий раз у него включается защитный механизм, который чрезвычайно меня интересует. Он срабатывает неожиданно, в разных формах, у каждой страны по-своему, но кто поймет систему самосохранения

человечества, поймет все. Я собирался в это закопаться и года два — не прекращая телеработы, потому что на телевидении я с 1968 года, и от этого избавиться гораздо труднее, — писать большую историческую работу, в свободной форме, как эссе... И не отказываюсь от этой идеи. Но тут последовало назначение.

— *Почему не в министерство, как вы думаете?*

— Вероятно, потому, что при назначении нового министра надо было максимально дистанцироваться от разных групп влияния. Если бы я остался в министерстве, это осложнило бы работу Александру Авдееву. Я его давно знаю, это замечательный специалист и просто хороший мой товарищ, и осложнять ему жизнь мне ни к чему.

— *А каков ваш нынешний статус? Грубо говоря, что входит в вашу компетенцию?*

— Сейчас я сам определяю, что будет в нее входить. Какое поле себе наметишь, за то и будешь отвечать. Я думаю, прежде всего от меня зависит продвижение российской культуры в мире — ее знают недостаточно, но знать хотят. Тому порукой невероятный интерес к ней, например, в Латинской Америке. Или в Польше — мы сейчас обменяемся ретроспективами нашего нового кино. Но и это все вторично — мне сейчас кажется важным просто напоминать о простых вещах, о которых мир забыл. Потому что, когда комфорт — или «достойная жизнь», назовите как хотите, — становится главной идеей, ценности несколько сдвигаются. Возникает убеждение, что плевать в тарелку соседа нельзя, а стырить или разбить эту тарелку — нормально. Что сморкаться в занавески нельзя, а сорвать эти занавески и выбить

стекла — норма, право сильного и так далее. Это и есть доминирование политкорректности над правом и смыслом, чему мы свидетели сплошь и рядом. Значит, надо напоминать о простых вещах, базовых. Есть несколько способов — новая мировая катастрофа, например. Но меня этот способ, сами понимаете, не привлекает.

— *С телевидением вы не порываете?*

— Я думал с «Культурной революцией» закончить, потому что формат существует давно и начал меня утомлять. Я ведь там повторяю азбучные истины. Критики программы цепляются обычно к тому, что там ставятся провокативные вопросы. Но это ведь единственный способ напомнить азбуку! Только в такой форме она может дойти до людей, по крайней мере сегодня. Я доказываю эти простые вещи от противного, потому что воспринимать проповедь никто не готов — люди охотнее слушают спор, это азбука драматургии; но пафос-то у программы самый традиционный. Нельзя навязывать другому свое мнение; нельзя запрещать думать; нельзя поэтизировать зло... Вообще, мне кажется, человека делают человеком две чрезвычайно простые вещи — сострадание и самоирония. Можно жить без них, но человеком уже не будешь — будешь каким-то другим биологическим видом, по-своему даже эффективным, но ожидать от тебя человеческих реакций уже нельзя. Вот о сострадании и самоиронии я хотел бы напоминать, и в этом мне видится единственная задача программы — кстати, это касается и ток-шоу «Жизнь прекрасна», благодаря которому меня узнают, например, на рынках. «Культурная революция» такого узнавания не обеспечивает.

— *За сострадание отвечает «Революция», за самоиронию — «Жизнь»?*

— Наверное. «Революция» продолжится еще как минимум на 16 программ, на них я подписал договор с каналом, а дальше — хотелось бы что-то другое. Ток-шоу на общественно значимые темы, например. На будущий год.

— *Вы собираетесь пропагандировать российскую культуру, а нет у вас ощущения, что она-то как раз противостоит глобализму и не собирается в него интегрироваться?*

— Всякая национальная культура противостоит глобализации. Всякая! — включая американскую. Настоящая, корневая американская культура — Фолкнер, Вульф — отнюдь не интернациональна. Америка создала великую массовую культуру, годящуюся для всего мира, но к ней далеко не сводится. А миру — скажу вам еще одну циничную вещь — только то и интересно, что не стремится в него интегрироваться. Иначе на французское кино, немецкий театр, американскую прозу не было бы спроса и не стояли бы очереди на русские выставки...

— *Есть для вас какой-то безусловный признак, что в стране начинается — не скажу «диктатура», но по крайней мере мягкий ее вариант? Ведь сейчас побеждают такие тенденции — даже в культуре, — что не видит их только безнадежный оптимист...*

— Еще раз говорю: назовите носителя этих тенденций. Их нет. Нет серьезных идеологов, которые бы развивали идеи запретительства. И что значит — «побеждают»? Симона де Бовуар сказала: если достаточно долго живешь, понимаешь, что любая

победа оборачивается поражением. Если в эстетике что-то побеждает — это плохой признак для победителя. А тоталитаризм начинается тогда, когда власть начинает диктовать эстетическую норму. Не идеологическую, подчеркиваю! Враждебные идеологии могут договориться — они одинаково непримиримы, одинаково не терпят инакомыслия, мало ли... А именно эстетическую: здесь разногласия самые непримиримые. Когда вам говорят: пишите так, чтобы было понятно! Рисуйте — чтобы изящно, чтобы не грубо! Вот тогда — диктатура, да. Я в нынешних условиях этого себе не представляю.

— *Я бы напоследок спросил о вещах профессиональных, театральных: вот есть семидесятые годы, полемика между условным, авангардным театром — и традиционными реалистами. А где-то в стороне от этого спора — третья сила, Эфрос, и она-то самая интересная. Кто сегодня продолжает эту линию?*

— Знаете, я с годами, наверное, становлюсь сентиментален. И в театре мне тоже хочется не эксперимента, пусть самого талантливого, а человечности. Чем брал Эфрос? Горло перехватывало. Он, в сущности, был сентиментален, чувствителен, интимен, и потому его наследник сегодня...

— *Сейчас скажет: Фоменко.*

— А я скажу: Женовач.

— *Да, он умеет, чтобы горло перехватывало...*

— Фоменко — понимаете... Пусть меня заклюют, но он наследник Вахтангова все-таки. Героико-романтическая линия. Вахтангов — это ведь не только гротескная «Турандот», это «Эрик XIV» в Первой студии МХТ. Да и «Турандот» — это прежде всего влюбленный Калаф, на котором все держит-

ся. Героическая роль в цирке! Вот это — линия Фоменко. А Женовач — семейственный, человеческий, не столько студийный, сколько домашний... И вот это я сейчас предпочитаю всему, даже великим экспериментам Някрошюса. Хотя Някрошюс, если вдуматься... и Туминас... и даже гениальный поляк Гротовский, разметававший традиционный театр по кирпичику... все-таки прежде всего католики. Отсюда — все.

— *Они — католики. А наши театральные реформаторы в большинстве сектанты, разве нет?*

— Даже если да, этого я вам не скажу. И так уже наговорил достаточно, чтобы разругаться с половиной коллег.

2008

Юрий Шевчук

Шевчук, как всякий истинный рокер, замечательно организует хеппенинги вокруг себя, не прилагая к тому никаких усилий. Чтобы сфотографировать его на московской улице с гитарой, я притащил свою (никому теперь не дам на ней играть и сам не буду, музейная вещь). Он невозможно взял ее и, стоя посреди Малой Дмитровки, запел под три аккорда:

Я завтра брошу пить, вот удивится свет,
Прочту десяток книг и натяну вельвет,
Я выдавлю прыщи, я патлы обстригу,
Тройной одеколон для рожи сберегу...

Его узнал проходящий мимо актер из Ленкома:

— Юра, что ты делаешь?

— Репетирую уличные заработки, старичок.

Начала собираться публика. Фотограф порывался собирать деньги. Это был русский рок в химически чистом виде. Шевчук, вероятно, — самое полное и органичное его воплощение, и потому даже спокойный, несколько меланхоличный разговор с ним полон подспудной тревоги. Надо помнить, что внутри у него пружина.

— *Я начну, само собой, с марша несогласных в Петербурге: почему, по-твоему, это стало возможно там и невозможно здесь?*

— Знаешь, насколько я могу проникнуть в психологию Матвиенко, — хотя логика человека из власти для меня непостижима, — она в глубине души демократ, даже и либерал. Наверное, срабатывает мягкая женская сущность. Это не отменяет моих претензий к ней, к тому, что происходит с Питером, — город уничтожается, на Невском погибли шесть домов, а в войну, в блокаду, — ни одного! Но по крайней мере выйти на митинг с людьми, с которыми приятно просто рядом постоять, — еще можно.

— *А это не бесполезно?*

— Нет, не бесполезно. Во-первых, я исповедую принцип «И один в поле воин». Даже если на митинг выходит один человек, можно считать, что все удалось. А во-вторых, это делается...

— *Ради себя?*

— Нет, конечно. Это делается, чтобы свеча не гасла, как вот в «Ностальгии» у Тарковского Янковский ходит со свечой. Зачем-то надо, чтобы она была — в самые глухие времена. Не обязательно, чтобы это был, допустим, факел; но свечу надо нести. Прошу прощения за пафос, но я вообще пафоса не боюсь, он лучше цинизма, лучше, чем говорить, что несогласные выходят на митинг ради пиара...

— *Такое могут и про тебя сказать.*

— И говорят. Троицкий писал уже. Это сказать легко, многие любят опустить человека до своей поляны и на ней затоптать. Я к этому спокойно отношусь.

— *А к Макаревичу, допустим? Который сыграл на Васильевском спуске?*

— Тоже спокойно, без негодования, с молчаливым ироническим недоумением, сказал бы я. И к Саше Васильеву, и к Косте Кинчеву, который подерживает власть...

— *То есть это вас не разведет?*

— Это нас развело давно, потому что я сейчас почти ни с кем не общаюсь. Все разделения произошли давно, не вчера, просто стало видней. Все было уже в девяностые. Ты помнишь, какие все мы были в девяносто первом? Какие слова, какие клятвы... И спустя три года все это начало растворяться, — в безразличии, в жажде хлеба и зрелищ... Хлеба и зрелищ, сказал бы я. В результате демократии Россия так и не увидела, но при этом демократии сделан такой пиар, что иначе как дерьмократией народ ее не называет. Нулевые годы — не отрицание девяностых, нет. Это их прямое продолжение. Только тогдашнее разложение залито...

— *Медом.*

— Скорее льдом. У меня сейчас в одной статье — я учусь писать статьи — есть фраза: «Мы доползли до ослепительно сияющих пиков стабильности». Но там разреженный воздух, дышать нечем. У меня самого все в порядке — я живу пристойно, уже не в той жуткой коммуналке, в которой снимали «Брата». Помню, Сергей Бодров, сроду такого не видевший, спрашивал меня в ужасе: «Юра... вы... здесь... живете?!» — «Да, брат, живу...» Сейчас есть отдельная квартира на Моховой, но дышать мне нечем.

— *Ты действительно учишься писать статьи? Зачем тебе это?*

— Зачем — я никогда не знаю, могу догадываться почему. Наверное, потому, что музыка мне не так интересна, как раньше; или потому, что некоторые вещи песней не скажешь — их надо формулировать прямо... Может быть, я рассматриваю статьи как разминку перед прозой — так многие делали. Никакой аналогии, конечно, но если учиться, то у гения: Достоевский перед большим романом всегда разминался, проговаривая какие-то вещи в статьях. Я сейчас везде с собой таскаю трехтомный «Дневник писателя» — кажется, Гиппиус говорила, что это вообще лучшее его сочинение, выше художественных... Я бы сказал — не хуже.

У меня нет сейчас желания много выступать. Я и группу попросил как-то этот период пересидеть. Можно до старости петь «Осень» и что-то зарабатывать, но я не хочу сейчас петь «Осень». Я и пишу сейчас иначе — это очень простые песни, в стилистике народных. Думаю, что «Прекрасная любовь» — альбом именно такой, ясный, по музыке проще простого. Еще один я записал сейчас в Париже, с Костей Казанским, с которым записывался Высоцкий, — песни по его выбору и в его аранжировке. Некое рукопожатие с Европой — возвращение слову «шансон» европейского смысла. Выйдет, думаю, осенью. А так — я пишу сейчас статьи, поэмы, выпускаю книгу стихов «Сольник» и примериваюсь к прозе. Не то чтобы я сильно зависел от возраста, но после пятидесяти начинаешь остро чувствовать: осталось не так много. Активной работы — может быть, десяточка. Если Господь даст эту десяточку, прощелкать ее не хочется.

— *Вернемся к маршу: это было спонтанное решение?*

— Абсолютно. Если опять не бояться пафоса — по зову сердца. Я веду себя с государством честно, а оно со мной нечестно. Ему со мной можно сделать все, а мне с ним — ничего, даже сказать ему — тоже ничего. Это какие-то неправильные отношения, такой эротики я не понимаю.

Вообще все мои решения — довольно спонтанные. Я не могу сказать, зачем летал в Чечню: это был порыв. Но именно в порывах собираешь себя. Когда надо что-то сделать и понять, чего ты стоишь. Иногда есть порыв куда-то сорваться, как Чехов на Сахалин (сравниваю опять же не себя с ним, а побудительные мотивы). Иногда — подраться: сила неважна, главное — дух. А иногда — просто пойти и постоять с хорошими людьми.

— *Как ты относишься к Лимонову?*

— Хорошо, хотя я ведь совсем не экстремал, не экстремист...

— *Да ладно.*

— Говорю тебе — я не знаю, как выгляжу, но ощущаю себя тихим гуманитарным очкариком. Впрочем, Лимонов тоже в очках...

— *Самый большой экстремизм в России — это быть тихим гуманитарным очкариком.*

— Да? Может, и так... Вообще, наверное, с точки зрения государства я анархист, у меня еще с детства не было иллюзий по поводу власти. Любой. Не только потому, что я очень рано прочел Бакунина, Кропоткина, а потому, что у меня была длинноволосая юность. Я никогда первым не нападал, а они

меня почему-то чувствовали безошибочно еще до того, как я успевал открыть рот. Так что я экстремист для них, конечно, хотя не прилагаю к этому никаких усилий.

Но Лимонов привлекателен не только экстремизмом или писательским талантом, а тем, что честно за все платит. Он живет в полном соответствии со своими декларациями. Вот за это его и можно уважать прежде всего. За это же я уважаю и Ходорковского — мог уехать, но платит, несет крест. Это выделяет Ходорковского из большинства олигархов, а Лимонова — из множества экстремалов.

— *Ты ожидаешь каких-то последствий от этого своего порыва?*

— Ожидаю, но конкретизировать не буду. Зачем мне подсказывать им варианты? Пусть сами думают.

— *Это все надолго?*

— Думаю, да. Мы еще насмотримся на пики стабильности в лучах восходящего солнца. Они растают, конечно, но нескоро.

— *А почему все опять завернуло туда?*

— Если бы я знал этот ответ! Я сейчас читаю очень много всего, от философской классики до исторических трудов, и пытаюсь это понять и не могу. Может, все опять так, потому что никогда не было иначе. А может, потому, что интеллигенция — главная и, может быть, единственная гарантия от таких повторов — очень малочисленна количественно. У меня сейчас должна выйти статья с лозунговым названием: «Интеллигенция — национальный проект России».

— *В смысле — должна им быть?*

— Она давно им стала. Национальный проект — это ведь не то, что наметило правительство. Это то, что проектирует и производит сама страна. А она давно выбрала интеллигенцию своим национальным проектом. Интеллигенция — коллективный стыд. И страна, кажется, уже поняла, что очень в ней нуждается: нельзя ведь спустить проект сверху, он снизу нарастает. И я вижу сейчас огромное количество умных молодых лиц. Нынешние двадцатилетние, двадцатипятилетние — они тем более поразительны, что выросли в девяностые, когда ими никто особенно не занимался. И я счастлив, что они ходят меня слушать.

— *А сыну твоему сейчас сколько?*

— Пете двадцать. Он осенью вернется из армии. Видишь, я же говорю — по отношению к государству я честен. Сына отдал в армию. Он служит морпехом, в хорошей боевой части. К устройству его в эту часть я приложил некоторые усилия, поскольку у меня с Чечни были друзья среди военных. Я и сам армию люблю, и сын военного, и до всяких гастролей хорошо посмотрел страну, кочуя с отцом по гарнизонам. А здесь я просто попросил своих ребят взять его в настоящую боевую часть, чтобы без дедовщины, чтобы действительно учили воевать.

— *Ты туда съездил?*

— Я регулярно туда езжу. Иногда выступал. Но уверяю тебя, что ему там и без этого было бы нормально. Петя — серьезный.

— *Ты морально готов к тому, что он приведет в дом невесту?*

— Рано. Но он меня, скорее всего, не спросит — я знаю, что к нему туда без моего ведома кто-то уже ездил.

— *Армия сейчас на что-то способна, как ты думаешь?*

— Сейчас — да. Но офицеры с боевым опытом уходят оттуда — туда, где платят. Хорошо, если на часть есть два офицера с реальной боевой практикой. Я в начале двухтысячных выпивал с одним командующим флотом — у него была зарплата восемнадцать тысяч рублей. Сейчас, может, прибавили, но все равно...

— *А в Чечне ты давно был?*

— Зовут солдатики, я должен был приехать в декабре, но не получилось. Может, летом.

— *Там еще много солдат?*

— Много. Тянут лямку.

— *Почему, как ты думаешь? Ведь Рамзан Кадыров установил полную стабильность.*

— Я думаю... как бы сформулировать? Что эта стабильность, установленная Рамзаном Кадыровым, не вполне предсказуема. Поэтому они там пока и остаются.

— *Ты по-прежнему много времени проводишь в деревне?*

— От деревни остались полтора дома, остальное занято дачами, коттеджами... Но в Лебедевке мне по-прежнему хорошо, да и привык — десять лет там сочинял...

— *Ты сочиняешь с гитарой? С акустической?*

— С акустической — редко. Чаще с электрогитарой.

— *Какая у тебя?*

— У меня много. Сейчас вдруг поклонники пода-рили «Гибсон» пятьдесят седьмого года, за пятьдесят тысяч долларов. Пятьдесят седьмой — год рождения мой! Я на ней даже не играю, боюсь, только люблюсь.

— *Как по-твоему, почему в Питере и марш удался, и вообще оппозиция лучше себя чувствует, а в Москве все окончательно сгнило?*

— Насчет того, как себя чувствует оппозиция в Питере, — самая наглядная история случилась с Максимом Резником, лидером питерского «Яблока». Он выходил из офиса, когда на него напал милицейский наряд. Его избили и при этом обвиняют в оскорблении и избиении милиционера. А у Резника два высших образования, и с какой бы стати ему нападать на ментов? Это к вопросу о том, как хорошо оппозиции. И о том, почему мне надоела такая эротика.

А насчет различия между Москвой и Петербургом... Ну, наверное, в Москву чаще едут за славой, а в Питер — за реализацией. Там и сейчас множество молодых талантливых групп, я только сегодня на «Наше радио» отвез грудку дисков. Они мне что-то показывают, приносят, по большей части это хорошая музыка. Они едут в Питер серьезно думать, работать, расти — город, наверное, оптимален для этого. Сквозит из Европы. Все новинки появляются в тот же день или за день до. Я помню, каким культурным шоком был для меня Питер после Уфы: живое европейское соседство, английский язык! Это же тогда очень

много значило — понимать английский. Я думаю, Майк Науменко сделал для русского поэтического языка примерно то же, что Пушкин в свое время, с поправкой на масштаб. Пушкина не зря дразнили французом — он сделал французскую прививку, а Майк — английскую. У него есть та мера откровенности, та легкость (несмотря на огромные, небывало длинные баллады!), которой до этого в русском роке не было. Потом эту манеру освоил БГ, привнеся собственную ироническую загадочность.

— *Как ты к нему относишься сейчас?*

— Он безусловный художник, и я, пожалуй, резко написал о нем в «МК», что он «просветлился до слепоты». Хотя в этом что-то есть... Понимаешь, это же все тонкие вещи: когда человек говорит, что он не снисходит до политики, настолько все это презирает, что ни в чем не участвует... это может быть проявлением просветленности, а может — трусости, и иногда в самом человеке это так переплетено, что не разберешь, где кончается стоик и начинается циник. Применительно к БГ я стопроцентно убежден, что это позиция художественная и где-то даже религиозная. Применительно к другим, которые пытаются перенимать его интонации и приемы, — далеко не уверен.

— *А Бутусов?*

— А Бутусов — нежный, хрупкий, с огромной семьей. Он ненавидит выступать. Мы недавно вместе выступали в БКЗ, и он моего друга, художника Володю Дворника, выставявшего свет, попросил: «Можешь сделать так, чтобы меня было почти не

видно?» Это у него позиция, не поза, и так всю жизнь.

— *С каким чувством ты узнал о смерти Летова?*

— С очень тяжелым. Это был исключительно свободный человек, сочинявший красивейшую музыку. Его альбом «Сто лет одиночества» — лучший, я думаю, — стоит у меня на той же полке, что и Моррисон, и Башлачев. Думаю, и сам Летов будет стоять в этом ряду. Он сделал все, что мог. И поэтому умер.

— *А Башлачев? Нет у тебя ощущения, что он тоже сделал все?*

— У Башлачева кончился определенный этап. Надо было сказать себе, что он закончился, и превратиться во что-то совсем другое. Это дело небыстрое. У него, может быть, не хватило внутреннего ресурса — переждать молчание. Это трудней всего. Но и того, что он сделал, совершенно достаточно, чтобы остаться огромным, отдельно стоящим художником.

— *Ты часто вот так превращался?*

— Раза три, может быть, больше... Я оставил в книге, например, несколько совсем ранних песен, еще уфимского периода. «Дождь», скажем... Я понимаю, что там рифма плохая. Но там эмоция сильная, счастливая, — рифму я сейчас сделаю лучше, а почувствовать с такой силой не смогу. В середине девяностых что-то переламывалось, в начале нулевых — еще раз... И сейчас что-то происходит, я это чувствую и жду. Все уже готово, все расселись по местам, — сейчас должна начаться музыка. Ударит молния... да они уже и погрохатывают...

— *Ты бываешь в Уфе?*

— Ежегодно.

— *С каким чувством?*

— С чувством родства. Там несколько тысяч моих учеников и соучеников, десятки моих женщин, там нормальная Родина. В Уфе надо ко всему прикладывать определение «феодалный», так было и будет. Прежде был феодальный социализм, теперь феодальный капитализм. В остальном город не меняется.

— *А с Земфирой у тебя есть какие-то отношения?*

— Никаких.

— *Но в ней есть что-то настоящее, по-моему...*

— В эстрадном понимании — да. Но то, что она делает, — эстрада, а не рок: другой жанр.

— *Что с твоим рок-н-рольным образом жизни? С безумными непредсказуемыми поездками, с бурной личной жизнью, с пьянками, наконец?*

— Не время пить. Кстати, на марше несогласных в Питере не было ни одного пьяного. Ни одного — на две тысячи человек из тридцати партий и организаций! У меня был интересный опыт в девяносто первом, когда в августе я вдруг очутился в Польше. С большой компанией. Просто заснул в Калининграде, а проснулся в Польше, и до сих пор не понимаю, как я туда попал. Меня затопил липкий ужас: я не дома! Как попасть домой? Около посольства стояла огромная очередь наших челночников и путан, просивших политического убежища. Был первый день путча. Мы сели в такси, чтобы ехать на паром, — один паром еще отходил в Россию, был

шанс вернуться, мы на него успели. В машине мой приятель достал последнюю литровую бутылку водки — нас трясло, надо было срочно опохмелиться, — и спросил таксиста: стаканы есть? Таксист, серьезный пожилой мужик, повернулся и по-русски сказал: «Не время вам пить». Вот и сейчас.

А насчет личной жизни... Я нормальный мужчина с нормальной ориентацией. Но не женат. Я вдовец.

— *Ты повторил бы сейчас слова: «Еду я на Родину, пусть кричат — уродина, а она нам нравится...»?*

— Я их повторяю на каждом втором концерте. Эту песню просят даже чаще, чем «Осень». Да, я эту песню люблю, и петь ее сейчас особенно важно. Она о той настоящей Родине, которая не имеет никакого отношения к «Единой России». Этой Родины, родной и корявой, сейчас почти не видно. Но она есть. И она мне нравится.

— *Кстати, ты помнишь, как написал «Осень»?*

— Помню. На кладбище. Было так мрачно, так тяжело, а вещь вышла неожиданно легкая. Никогда не знаешь, что напишешь. Помню, как в деревне писал «Просвистело». Долго ходил по лесу, вернулся домой, разжег печку, согрел руки, сел к столу и написал. А что «просвистело» — не спрашивай, непонятно. Метель свистела... Какая разница, что я хотел сказать?

— *У тебя нет намерения вернуться в кино?*

— Одно время, после того как Мамонов сыграл в «Острове», посыпались предложения играть монахов. Считалось, видимо, что весь русский рок должен теперь переиграть святых. Мне, помню,

прислали историю, в которой я должен был играть слепого монаха, который потом прозрел... Мамонов сыграл прекрасно, это роль, к которой он всю жизнь шел, и фильм мне нравится, я даже поучаствовал в Киеве в его раскрутке... Но сейчас на этом месте долбят шахту, и это уже никуда не годится. Я все думал: что же Мамонов может после этого сыграть?

— *Сейчас играет Ивана Грозного, тоже у Лунгина.*

— О! Точно. После такого — только Ивана Грозного.

— *А Сельянов не предлагал больше сняться, после «Духова дня»?*

— Сельянов на меня обиделся, когда предполагалось участие «ДДТ» в «Брате-2». Мне не понравился пафос этого фильма — «Бей хохлов, спасай Россию». Сельянов рассердился и сказал, что я коммунист. Ладно, пусть я буду коммунист. А первый «Брат» мне очень понравился. От него, от мальчика этого, веяло некоторым ужасом, конечно. Но веять ужасом должно от всякой новизны. Мне вообще интересно только чудо. А оно всегда пугает.

— *Слушай, вот ты из Питера...*

— Я не родился там.

— *Но там состоялся. И Путин тоже из Питера, и фактически твой ровесник. Старше на 5 лет. И такие вы разные с ним, и ведь он тоже естественное продолжение Питера, тоже продолжает одну из его линий — столичную, административную, бюрократическую, ту, что у тебя в поэме названа «Петропавловской щелью»... Почему так? Почему одна страна, один город, одна, в сущности, культура породила двух таких разных отпрысков?*

— Хар-роший вопрос... Первый такой интересный вопрос. Ха. И ведь он действительно органическое порождение Петербурга.

— *И наверняка ты бы многое на его месте делал, как он...*

— Я?! На его месте?! Я за группу отвечать не могу, в ней пятнадцать человек, а тут — за полтораста миллионов?!

Но вообще — да, странный разброс. Надо подумать. Я, может быть, песню об этом напишу.

2008

Леонид Ярмольник

До завершения «Истории Арканарской резни» оставалось еще три года, но уже вышел в прокат спродюсированный Ярмольником «Мой сводный брат Франкенштейн» Тодоровского, где продюсер вдобавок сыграл одну из лучших ролей.

— Я вот с чего начну: почему отечественный комик долгое время воспринимается всеми как шут, а потом р-раз — и с какого-то возраста он чуть ли не духовный отец, всеобщий кумир, всегда с эпитетом «великий»... Борис Андреев, Петр Алейников, Юрий Никулин, Евгений Леонов.

— Ролан Быков... Андрей Миронов... Папанов, кстати...

— Да. Вся вторая половина карьеры — трагические роли и ореол всенародного любимца. Теперь вот и ты. Что за тенденция?

— Сам я не мыслю себя в этом ряду, конечно. Это ориентиры. Но объяснить попытаюсь: во-первых, человек, умеющий смешить, — он всегда воспринимается как более мудрый. По крайней мере в нашей традиции. Если высмеиваешь — значит, смеешь; что-то такое знаешь, большее, чем мы. Ну и потом традиционная любовь к комику, который ассоциируется с праздником, с радостью. Когда он потом

попадает в трагическую роль, то достанет глубже, чем патентованный трагик, какие-то зацепит струны, до которых другой не достучится. Как Никулин в «Двадцати днях без войны», Быков в «Проверке на дорогах»...

— *Миронов в «Лапшине» и соответственно Ярмольник в «Трудно». Стало быть, у Германа это любимый прием?*

— Не знаю. Во всяком случае, он в одном интервью сказал, что не считает Никулина сильным артистом. Клоун — великий, а артист — нет.

— *И как у вас складывается? Я слышал, что из-за вашей ссоры картина вообще под угрозой...*

— Не слышал, а читал ты об этом, статья такая была в «Комсомолке». Когда после съемки 10 мая между мной и режиссером случилась окончательно тяжелая ссора, я три месяца об этом не говорил ни слова. Ни публично, ни даже друзьям. И дождался: в упомянутой статье написано, что картина под угрозой из-за ссоры «двух больших художников». Я, стало быть, дотерпел до большого художника: молчание — золото! Значит, заявляю официально: я доработаю в этой картине. Выполню все свои обязательства.

— *Знаешь анекдот? «Говорят, Ярмольник на картине у Германа помер». — «Ах, Герман! Ах, зверь! Довел-таки его!» — «Да нет, нет. От старости...»*

— Это Абдулов придумал. В самом деле, эта история шесть лет тянется.

— *Конца не видно?*

— Если ничего не случится, картина будет доснята в конце следующего года. Во всяком случае, режиссер называл именно такие сроки окончания съемоч-

ного периода. Потом еще озвучание и монтаж, тоже всегда у Германа непростые. Сейчас снято процентов семьдесят. Комментировать ситуацию и оценивать свое там поведение или германовское я не хочу.

— *И правильно. Домолчишься до гения.*

— Не стремлюсь. Ну просто — я не понимаю таких методов работы, это не мое, я не могу жить в обстановке хронической нервозности, когда сам дохожу и всех вокруг довожу. Без всякой необходимости. Если эпизод можно снять проще и дешевле — я не понимаю, зачем его делать самым сложным и дорогим способом. Герман снимает кино, как ищут черную кошку в темной комнате. Велика вероятность, что в процессе ее поисков вдруг схватишь ее прямо за шкуру, и будет чудо. А если нет? И сколько вообще тыкаться? Мне эта роль давалась тяжелее всех, вместе взятых: не психологически, а физически тяжелее, поскольку на мне там надето пятнадцать килограммов железа — это только одежда, а еще два меча килограммов на столько же. И вот я с этими двумя мечами должен запрыгнуть в седло, хотя во всех книгах по Средневековью ты прочтешь, что рыцарь садился на коня при помощи оружейника, а то и просто холоп ему спину подставлял, и он на него наступал, как на табуретку. А тут запрыгни, с первого раза, с двумя мечами. Снимаем в Праге. Лучшие в мире чешские конные каскадеры смотрят на коня, на меня, на Германа, закрывают лицо руками и отворачиваются. И я пошел.

— *И запрыгнул?*

— Со второго раза. С первого не вышло. Как я это сделал — не знаю. Там же еще седло такое, с вертикальной спинкой...

— *Но вдруг потом, после всего, окажется, что это великое кино?*

— Очень возможно, и даже скорее всего. А может, никто смотреть не сможет. Такое тоже бывает. Там ведь как? Это такая фреска, такой Босх. Смотришь один длинный план — Босх. Второй — Босх! А на третьем начинаешь думать: кому это я должен был позвонить? Всякое возможно, заранее ничего не скажу. И что бы я про Германа ни думал иной раз, как бы с ним ни ссорился — никогда не изменю своего мнения о его первых трех картинах: великие картины. Я просто против того, чтобы из него делали икону.

— *Называть-то все это будет «Трудно быть богом»? Или, как он и предполагает, «Что сказал табачник»?*

— Я считаю, что название этой вещи — вообще лучшее у Стругацких. Самое емкое, мощное, ударное. Если сильно хотеть осложнить прокатную судьбу картины — можно от него отказаться, но тут режиссеру видней. Я, слава Богу, не продюсер Германа.

— *Тебя радует это обстоятельство?*

— О да. На месте его продюсера я бы уже или сел, не в силах законным образом достать средства, либо умер от разрыва сердца.

— *Ну, с Тодоровским тебе гораздо больше повезло...*

— Да. Хотя цапались мы и с ним — но, конечно, не так. Пару раз меня категорически не устраивало то, что Валера делает. Он говорил: все, я пошел с площадки, сам снимай. И я все делал, как нормальный послушный актер. Видишь ли, почему я в этот сценарий вмешивался... Гена Островский

писал его на меня. Я никому не отдал бы эту роль и эту историю. Тодоровский — абсолютно компьютерный человек, в том смысле, что у него кино с самого начала в голове готово, все просчитано, и снимал он совершенно не так, как я себе представлял. Я хотел... Вот ты видел «Папу» Машкова? Я смотрю — и сам понимаю, что здесь он пережал, и тут передал, и станции метро «Киевская» в то время не было, а все равно у меня слезы в горле, а значит, это его победа. На одних эмоциях. Там еврейская тема вообще ушла — вышло слезное кино про отцовскую любовь. Вот и мне хотелось что-то такое чрезвычайно эмоциональное и чтобы, может быть, в конце убили моего героя, а не этого мальчика, из-за которого все закрутилось. Но Тодоровский не любит жать на все педали. Он аккуратно так работает — тюк в кнопочку, тюк в другую... Казалось бы, ну дай ты мне и Ленке Яковлевой разыграться! Ленка же вообще большая театральная актриса, ты ей намек дай — она тебе все изобразит. Ну и я кое-что умею... Нет, он во всех ударных сценах меня сажает в профиль к камере либо вообще спиной, Ленку постоянно осаживает, и снимаем мы в результате чрезвычайно камерную, очень сдержанную историю, рассчитанную не на массового зрителя, который хочет поплакать и посмеяться, а на того угрюмого и очень немногочисленного, который считает все полунамеки и думает головой. Только примерно с третьего просмотра я понял, что Валера все сделал правильно, — и от души его расцеловал. А тут самолеты упали и Беслан случился. То есть

тревога эта, внутренняя смута, с которой зритель в финале остается вместо рисовавшегося мне катарсиса, — она у Тодора не просто так.

— *Я слышал, этой картине готовили бурную все-союзную премьеру, прокат в Пушкинском, громкий пиар... Где все это?*

— Нет, прокат будет, но от всесоюзной премьеры в самом деле отказались. Может быть, потому, что кино получилось совсем не такое, как ждали. Без готового ответа и жирной точки в конце. Люди с него выходят растерянные, тревожные. Тодоровский именно этого и хотел. В конце концов, это бодрит. Заставляет думать...

Там история простая: я играю интеллигента-физика, жена его содержит. Он хороший, порядочный человек, совершенное ни рыба ни мясо, здравомыслящий, как положено физику. Получает письмо от мальчика, возвращающегося с некоей войны — предполагается, что с чеченской, хотя конкретики никакой нет. Мальчик пишет, что он этого физика внебрачный сын, и все, что у него есть от отца, — это мое, стало быть, фото с его мамой; фото прилагается. Я встречаю этого мальчика, селю его у себя... Причем своих детей у меня двое, и отношение их к этой ситуации, как ты понимаешь, непростое... А мальчик оказывается уже на всю голову шарахнутый. Мало того, что у него один глаз, — он еще и всюду подозревает наличие врагов. В подвале, на чердаке... Причем заметить, что так сегодня каждый живет. Мне казалось: притча, гипербола. А теперь люди в метро ездят — и косятся на соседа: как он, проводки не соединяет, нет?

Этот мальчик потом наворотит дел, я не буду все пересказывать. Картину посмотрел один крупный государственный чиновник, мой знакомый, который мне чисто символически помогал продюсировать «Франкенштейна». Деньги, кстати, потрачены сравнительно небольшие — Тодоровский умудрился снять двухчасовое кино быстро и экономно, он сам продюсер. И вот этот мой приятель смотрит картину и говорит: да где вы нашли такого мальчика? Они же из Чечни все зверями приходят, а этот абсолютное дитя, ему в лаборатории из пробирки в пробирку переливать... Идеалисты! Нет, говорю, это ты идеалист. Самое страшное, что они именно такие. Чистые, наивные, только уже мертвые. Так курица некоторое время бежит, когда у нее голову отрубят. Этот мальчик — курица с отрубленной головой, он мертвый с первого кадра. Ужас в том, что происходит это не с могучими Рэмбо, а с несчастными, ни к чему не готовыми детьми.

И грусть, растерянность этого фильма с его странным на первый взгляд финалом именно в том, что никого не спасешь. Не мог я его спасти, с самого начала. И другим стать тоже не мог. Просто уже мало быть хорошим порядочным человеком, тихим интеллигентом, хорошим профессионалом... Не спрячешься ни в профессию, ни в семью. Придет к тебе такой Франкенштейн — и окажется твоим сыном. И хорошо еще, если Франкенштейн. А то ведь явятся и те самые, кого он на чердаке выслеживает: «чехи», «духи»...

— *И что делать?*

— Так если бы я знал! Тодор про то и снял, что выхода нет. Что все прежние пути к спасению отреза-

ны. А чтобы противостоять этим новым силам, надо быть... вот таким, как этот мальчик одноглазый.

— *То есть немного мертвым?*

— Получается, что да.

— *Тебя самого не пугает, что все вокруг так быстро возвращается к советскому образцу?*

— Я бы не сказал, что к советскому. Прогресс есть. Некоторые говорят, что наша история идет по кругу, — ничего подобного, налицо спираль, только это такая спираль, что мне все время хочется перескочить на другую. Значит, в советские времена такой был анекдот: «Знаешь древнюю восточную мудрость?» Тут надо таинственно понижать голос, поднимать палец и произносить как величайшее откровение: «Маму... убивать... нельзя!» В семидесятые это было очень ко времени, потому что банальности, пошлости и очевидности преподносились со всех сторон как великая мудрость. Жили среди истин, которые сами собой разумеются. Но сегодня — сегодня далеко уже не для всех истина, что маму убивать нельзя. То, что казалось очевидным, — частью забыто, частью преодолено. Азбука под вопросом. Книжки, которые школьнику казались слишком простыми, выглядят обременительными для некоторых взрослых. Все опять начинается с нуля и в каком-то смысле даже с минуса.

И вторая вещь, с этим связанная. То, что сегодня происходит, выглядит ужасающе циничным. Изогранным. Это касается всех — и террористов, и Запада, и России. К такой мере цинизма никто готов не был. У меня ощущение, что сегодня можно все. И возвращение к отброшенным нормам, под

знаком которых я все-таки жизнь прожил, вряд ли возможно без большого... как бы заменить это слово...

— *Я догадываюсь. Начинается на «п», кончается на «ц», шесть букв.*

— Да, он. Он должен прийти, чтобы напомнить о каких-то простых истинах. Если сами не хотим про них вспоминать.

Причем я ведь никогда не хотел уезжать из России. У меня была в девяностых такая возможность — у всех, собственно, была. И сейчас есть. Я никогда не жалел, что живу и работаю тут. И самому мне, вероятно, уже поздно менять образ жизни. Но у меня дочь, и за нее я боюсь. А за себя... да, тут тоже намечается некоторое убывание беспечности. Еще полгода назад я не обращал внимания на подозрительных личностей в темноте. А сейчас кошусь по сторонам и сам себя не люблю за это. А главное — государство не воспринимается как защита от этой внешней опасности. Оно скорее воспринимается как вторая, альтернативная опасность. Нормально было бы в этой ситуации закопаться в работу и перестать обращать внимание на внешний мир. Но это все просачивается и в работу — не в космосе же я снимаюсь, верно?

— *Но снимаешься, как я понимаю, много. Независимо от ситуации.*

— Немного. Я приучил, что мне редко предлагают. Было время, когда соглашался читать сценарии, вступал в переговоры: «Да, конечно, пришлите, я подумаю». Вот Тодоровский — у него голова совершенно иначе устроена, он может пятьдесят убедительных предлогов выдумать, чтобы не хо-

дить, куда ему не надо. А я так не умею, мне неловко, я говорю: давайте посмотрим... Присылают. Звонят: «Вам понравилось?» Да что значит «не понравилось», говорю я, я вообще не понимаю, за что вы меня так ненавидите! Неужели, по-вашему, я способен вот это сыграть? Ведь это читать невозможно — представляете, каково будет смотреть? Нет, говорят мне с невинным видом, нам кажется, что народу будет очень интересно... Придуман такой способ нравиться народу: все время делать наоборот. Антипрофессионально, античеловечно и антилогично. После некоторого количества таких отказов мне стали предлагать вещи более серьезные... и значительно реже. Вот у Месхиева я снялся в небольшом сериале. Вообще у нас с Олегом Янковским был такой чисто мужской договор: в сериалах не сниматься. Потому что сериал — это уже не просто формат, это своего рода знак качества наоборот. Янковский пока держится, а я оскоромился. Месхиев — хороший режиссер, мне понравилось у него работать, и именно с ним я как продюсер намерен делать следующую картину — о которой очень давно мечтаю.

— *Что за проект?*

— Нипочем не скажу. За него пять или шесть раз брались кинематографисты — никогда ничего путевого не выходило. Причем автор писал эту вещь именно как сценарий. На первый взгляд — готовый фильм. Экранизируют — все мимо.

— *Ну скажи!*

— «Камера обскура» Набокова. Я даже выпустил ее на компактках, сам начитал — до того нравится. Вообще в последнее время мне приятно начитывать

книжки — я выпустил «Трудно быть богом», это мне пока вместо фильма. Потому что я эту вещь, кстати, очень люблю. В «Камере обскура» непонятно главное: почему у Набокова эти люди все — живые, а начнешь снимать — и выходят плоскими? Сам я хочу играть Горна, понятное дело, а режиссером вижу только Месхиева. Потому что он обладает редчайшим качеством — в каждую работу умеет вложить ровно столько сил, сколько она требует.

— *Правду ли про тебя говорят, что ты умеешь войти в роль, что называется, с места в карьер — без подготовки, без настроения, без пререканий?*

— Если мне режиссер четко скажет, что от меня требуется, — то да. В молодые годы это иначе происходит: ты наигрываешь. Есть такой штамп: «Щукинец, изобрази!» Свеженький выпускник «Щуки» или любого другого театрального училища отлично умеет изобразить все, что требуется; временами выходит даже убедительно. Но на одной технике долго играть не будешь. Я сейчас могу что-то взять из своей жизни — в ней много уже было всякого — и это что-то быстро на себя надеть, как маску. Пусть только мне объяснят, про что надо играть. И тогда я действительно не буду изображать творческие муки — пойду и сделаю.

— *Говорят, у тебя легкий характер. Бывают актеры с легким характером?*

— Бывают, если периодически задают себе вопрос: а сколько человек пойдут за моим гробом? Это вопрос не праздный, потому что именно количество идущих за гробом может оказаться главным итогом жизни. Что там от тебя останется — какие роли, фильмы, память, — этого никогда знать не-

льзя. Может, через полчаса вообще забудут, что был такой. Раньше казалось, что раз ты увековечил себя в книжке или фильме — все, это на века. Потом выяснилось, что вместе с эпохой кончаются и эти книжки, и фильмы — люди вдруг перестают понимать, про что они. А некоторая хорошая память... или, наоборот, чувство физической брезгливости, которое ты по себе оставил... это оказывается долговечней всякого искусства. У меня нет амбиций остаться в веках, но есть надежда, что за моим гробом пойдут несколько десятков человек. Относительно некоторых людей, давно провозгласивших себя светочами, — у меня есть твердая уверенность, что по доброй воле прощаться с ними пошли бы трое, максимум пятеро, в основном те, кто не знал их лично.

— *Ты и с женой так же легко уживаешься? Трудно, наверное, жить с красавицей — к тому же с последней возлюбленной Высоцкого...*

— Ну... что значит «легко»... Я кричу иногда, да. Что-нибудь вроде «Да что бы ты без меня делала?!» Потом как-то проходит часа три, и... Ну понятно уже, что друг без друга было бы хуже. Примерно так и с Родиной, кстати.

2005

Литературно-художественное издание

Дмитрий Быков

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

В ы п у с к 1

Выпускающий редактор

Д.В.Савиных

Корректоры

Г.В.Заславская, Л.Ф.Уланова

Подписано в печать 27.04.2009

Формат 84х108/32

Тираж 3000 экз.

Заказ № 3154

ЗАО «ПРОЗАиК»

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 3

Телефон: (495) 795-01-46

Электронная почта:

prozaic@prozaic.ru

По вопросам реализации обращаться:

Книжный Клуб 36.6

107078, г. Москва, Рязанский пер., д. 3

Телефон: (495) 926-45-44

Электронная почта:

club366@club366.ru

Информация в Интернете:

www.club366.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Дмитрий БЫКОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Оксана Акиньшина
Виктор Астафьев
Федор Бондарчук
Владимир Войнович
Александр Гордон
Игорь Губерман
Евгений Гришковец
Алла Демидова
Марк Захаров
Альфред Кох
Андрей Кончаловский
Александр Кушнер
Юлия Латынина
Орхан Памук
Эдвард Радзинский
Эльдар Рязанов
Борис Стругацкий
Виктория Токарева
Эдуард Успенский
Александр Филиппенко
Василий Шандыбин
Михаил Швыдкой
Юрий Шевчук
Леонид Ярмольник

ISBN 978-5-91631-037-5



9 785916 310375